



Н. В. ВАЛЕНТИНОВ-ВОЛЬСКИЙ

Встречи с Лениным

«Конфидансы» предисловия

— Кто имеет право писать свои воспоминания? — спрашивает Герцен¹ и отвечает:

— Всякий. Потому, что никто их не обязан читать. Для того чтобы писать свои воспоминания вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, — для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но сколько-нибудь уметь рассказывать. Всякая жизнь интересна; не личность — так среда, страна, жизнь занимают...

При предположении, что я «сколько-нибудь умею рассказывать», приведенных слов Герцена вполне достаточно для установления «права» на нижеследующие страницы. Никто «не обязан» их читать. Но я даю им название не просто воспоминания, а «Встречи с Лениным» — это в них главное. Все, кто с ним встречались, — поспешили, считали даже своим долгом, в первые же годы после его смерти, сказать всё, что они о нем знают. Почему же я это делаю с таким большим опозданием, лишь после больших колебаний и подталкивания лиц, с мнением которых очень считаюсь? Одна из причин колебаний — писать или не писать — такова.

Октябрьская революция 1917 года, вождем-творцом, инспиратором главнейших идей которой был Ленин, установила на шестой части земной суши особый строй. Его постепенная трансформация и посягательства на мировое господство привели в 1952 г. весь мир к вопросу: быть или не быть апокалипсическому ужасу, Третьей мировой войне с применением атомных бомб? На фоне всего происшедшего с 1917 г. Ленин выступает как гигантская

историческая фигура. Он «зачинатель», от него начался новый исторический период. Когда описывают его жизнь, дают его биографию, характеризуют или оспаривают его идеи, лица, сим занимающиеся, остаются в тени. По положительному или отрицательному отношению к Ленину мы узнаем о их взглядах, не более того. Да большего и не нужно. Иной характер имеют личные воспоминания о Ленине. В них автор не может быть отсечен, отодвинут от того, о ком он вспоминает. Он неизбежно «прицепливается» к нему. Воспоминания, если они не скука смертная, не должны быть сухими протокольными донесениями, например, сообщающими, что в апреле 1904 г. в одном кафе Женевы Ленин заявил, что он «в некоем роде помещичье дитя», а немного раньше, в марте того же года выразил глубокое убеждение, что «доживет до социалистической революции». Читая такие и всякие другие сообщения о Ленине, всякий захочет узнать, кому же Ленин это говорил? Кто это лицо? При каких обстоятельствах, по какому поводу он это сказал? Почему сказал этому лицу, а не другому?

Каковы были отношения к этому лицу? Всё это неизбежно приводит к лицу, сообщающему слова Ленина. Хочет оно того или нет, выдвинуть столько Ленина и ничего не говорить о себе, остаться в полной тени — оно не может. Это лицо, в данном случае я, принужден говорить о себе, рассказывать всякие случившиеся с ним события, иначе та или иная встреча, беседа с Лениным не могла бы быть связно представленной, была бы вырванной из реальной обстановки.

Ведь слова, высказывания Ленина, приводимые в воспоминаниях, были реакцией на мои слова, на мое поведение, на то, что он слышал от меня. Но тут-то и появляется щекотливый вопрос о первом лице личного местоимения, о «я». Автор принужден всё время «якать» (Ленин мне сказал, я ему ответил и т. д.) А это порождает весьма неловкую несоразмерность: с одной стороны — простой смертный, «ни знаменитый злодей, ни государственный человек», с другой — фигура из эмигрантского подполья, поднявшаяся на трон российских царей и уже навеки записанная в скрижалях истории. Несмотря на это, в поле воспоминаний обе фигуры выдвигаются как бы на одной плоскости, с одной и той же силою. Многих других, писавших свои воспоминания о Ленине и неизбежно заводивших речь о себе, указанная несоразмерность, «непропорциональность», видимо, не смущала. Меня это смущало,

вызывая в памяти одну басню Крылова. Если теперь, весьма поздно, я преодолел чувство, мешавшее мне писать, — на то повлияли и подталкивания друзей, и такой еще мотив. Ознакомившись, скажу без преувеличения, почти со всем, что писалось о Ленине, я убедился, что могу в дополнение сообщить то, что никто о нем не писал. Не обещаю ничего сенсационного (самое сенсационное, что сделал Ленин, всем известно — октябрьская революция!), но я укажу на ряд фактов, высказываний Ленина, о которых нигде не упоминается, а они мне кажутся важными для его биографии. Среди них есть мелочи, и их нужно знать, если хотят иметь представление о живом, настоящем Ленине, весьма отличающемся от того, каким его изображают и ленинцы, и антиленинцы.

Была и вторая причина колебания — писать ли воспоминания о Ленине. Один из главных пороков, существующих о нем воспоминаний, не касаюсь казенных биографий, ценность которых вообще равна нулю, тот, что в повествование они вводят не взгляды, оценки, мнения, психологию, существовавшие у их авторов в описываемое ими прошлое время, а те, которые у них появились гораздо позднее. Многие факты, считавшиеся важными в прошлом, определявшие личное поведение и личные отношения, из такого рода воспоминаний совсем исчезают или соответственным образом сознательно и бессознательно «препарируются». От этого воспоминания приобретают искаженный, лживый характер, картина теряет свою «историческую» правдивость, чувствуется приспособление к заданиям и стремлениям не прошлого, а позднейшего времени.

Но возможно ли воспоминания освободить от этого порока? Возможно ли, содрав с себя то, что наслоило на личность время, то, что она пережила и пересмотрела, что в нее въелось нового — перенести в таком виде в прошлое?

Пишущий эти строки в 1904 г. более чем часто встречался с Лениным. Я считал себя настоящим «твердым» ленинцем, большевиком. За это, как выразилась однажды Крупская², ко мне тогда «благоволил» Ленин. Смогу ли я, отрешаясь от себя, каков я в настоящее время, правдиво представить, в чем же состоял мой большевизм, в чем была его сущность? Смогу ли я без фальши изобразить мое отношение к Ленину, указать, что меня к нему притягивало, что в нем интересовало? Старость располагает оглядываться на пройденную дорогу жизни, и в этих «оглядках», как я убедился, возможно и самоперенесение в прошлое. А поскольку

это так, оно переносимо и на бумагу — при условии, что запись ведется без умалчивания и с полной искренностью. Вот тут и возникли колебания. Нужно в этом признаться. Будучи вполне правдивым, автор должен будет говорить о таких фактах, которые рисуют его подчас в довольно смешном виде. Описывая всё как было, придется сознаваться и в некотором бахвальстве, и в большом непонимании, и в незнании, и в барахтаний в противоречиях. А это неприятно. Будучи правдивым, я не должен умалчивать ни о чем, что бросал в меня Ленин 16 сентября 1904 г., воспоминание же о том, даже через 48 лет, бьет по самолюбию. В конце концов колебания были преодолены. Ведь речь идет о молодом человеке — таких тогда было много, жившем 50 лет тому назад, физически, психически, интеллектуально столь отличающемся сейчас от меня, что я, без особого стеснения, могу относиться к нему как человеку чужому. Слово «я» остается, но «я» сейчас и «я» — 50 лет назад — два разных «я».

Остановлюсь еще на одном вопросе: то, что я описываю и сообщаю, происходило почти столетия назад, в какой мере это прошлое можно помнить и вспоминать? Могу ли утверждать, что всё ясно и крепко помню? Этого я и не говорю. В ряде случаев и бесед было бы особенно интересно вспомнить, что Ленин говорил, а я пишу: этого не помню. Из массы, что следовало бы запомнить, в запись пошла лишь часть, остальное испарилось. Добавлю: не нужно думать, что память заработала и воспоминания о прошлом прилетели ко мне сразу в тот самый момент, когда взялся за перо. Многие факты и беседы были давно записаны, другие с давних пор прочно сидели в голове. О них не раз приходилось рассказывать моим знакомым, а больше всего моей жене — В. Н. Вольской. Такие воспоминания были как бы сложены в «конверты», нужно было только эти конверты «распечатать». Но при подобном распечатывании есть одна сторона, на которой стоит остановиться.

Толстой в «Войне и мире», описывая князя Николая Андреевича Болконского, говорит: у него появились «резкие признаки старости — забывчивость ближайших по времени событий и памятьливость о давнишнем». Феномен памяти, воспоминаний, изучен весьма плохо. Немного лучше, чем явление сновидений. Проникновение в тайну атома оказывается легче, чем проникновение в тайну функционирования нашего психического аппарата. Неизвестно, удастся ли науке убедительно объяснить, почему это

происходит, но самый факт несомненен: у многих в старости параллельно росту забывчивости ближайших событий — появляется даже не просто памятьливость, а, иногда удивительная по своей интенсивности, памятьливость о событиях давнопрошедшего времени.

Можно подумать, что перед тем как совсем исчезнуть, организм, мозг, тщательно осматривает пройденный жизненный путь. Благодаря приобретенной старческой способности, откуда-то из шкафа памяти вылезают, припоминаются детали, делающие картину прошлого столь живой, точно вспоминаемое событие происходило на днях. У одних старческая памятьливость направляется больше всего на внешнюю обстановку, внешние стороны прошедшего события — год, число, день события, место события, присутствующих лиц, их костюм и т. д. У других память фиксирует, главным образом, то, что человек слышал, что он говорил, что и как ему отвечали. Память о внешней стороне происшедших событий — у меня довольно плохая. Я много раз гулял с Лениным в Женеве по quai de Mont-Blanc, однако, кроме смутного, неясного, воспоминания об этой улице на берегу озера Леман ничего не сохранил. За домом на rue du Foyer, где жил Ленин, в нескольких шагах от него находился и судя по нынешней карте Женевы, продолжает находиться большой парк. Почему с Лениным мы гуляли по quai de Mont-Blanc и дальше по route de Lausanne, а не в этом парке? Не могу сказать, не помню. Моментами «кажется», что в парк заходили, всё же никакой уверенности в том нет. Наоборот, многие беседы и с Лениным, и с другими лицами и не только в 1904 г., но и раньше, так четко сидят в памяти, что точно где-то выгравированы. Поэтому на нижеследующих страницах я часто смог передавать не «резюме», не смысл того, что мне говорил Ленин, а почти «стенографически» живую речь, его подлинные слова и выражения. Кроме прилива «старческой памяти», этому, конечно, весьма способствовало влияние на меня в прошлом Ленина, огромный к нему интерес, почитание очень важным всего того, что он говорил и отсюда желание и усилие это запомнить, крепко задержать в памяти. Максимально-точная передача отношений, мыслей, чувств прошлого была главнейшей задачей моих воспоминаний. Однако замкнуться в одном былом невозможно. И я выходил из него, делая к нему дополнения, внося объяснения, намекая на его продолжение или уничтожение в настоящем.

<...>

Попытки узнать Ленина

Известно, что в русской рабочей, крестьянской, мещанской среде была в ходу — не знаю, существует ли она сейчас — кличка по отчеству — «Петрович», «Иванович», «Ильич» и т. д. Обычно она прилагалась или к пользующимся уважением старым людям, или от присутствия особых черт — седины, большой бороды, придающих им пожилой вид. Элемент фамильярности, почти как правило, этой кличке сопутствовал.

Ленину, когда я с ним познакомился, было 34 года. Несмотря на лысину, в его облике я не видел ничего, что придавало бы ему старый вид. Крепко сколоченный, очень подвижной, лицо подвижное, глаза молодые. (Совершенно иначе видел Ленина А. Н. Потресов³. Впервые встретившись с Лениным, когда тому было 25 лет, Потресов о нем писал: «Он был молод только по паспорту. Поблекшее лицо, лысина во всю голову, оставлявшая лишь скудную растительность на висках, редкая рыжеватая бородка, немолодой сиплый голос».)

Тем не менее большевистское окружение (за исключением А. А. Богданова⁴ и меня) в личном общении и за глаза его величали «Ильичом». Так называли его и сверстники, и те, кто намного были старше его, например, Ольминский⁵, с седой головой и бородой выглядевший старым человеком. Однако при наименовании Ленина «Ильичом» фамильярность отсутствовала. Никто из его свиты не осмелился бы пошутить над ним или при случае дружески хлопнуть по плечу. Была какая-то незримая преграда, линия, отделяющая Ленина от других членов партии, и я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ее переступил.

Ленина называли не только «Ильичом». Я не мог сразу понять, о ком идет речь, впервые услышав от Гусева⁶: «Идем к старику». Считаться «стариком» в России, вообще говоря, было не трудно. Нужно было лишь несколько превышать среднюю продолжительность жизни, а она была низка. Тургенев в «Дворянском гнезде» называет стариком Лаврецкого, которому было только 43 года.

Однако Ленина называли «стариком» не в этом смысле. Несмотря на свой афишированный интернационализм, даже космополитизм, среда, которой «командовал» Ленин, была очень русской. Русское же не значит еще «родился от русского отца

и русской матери». Это обычно бессознательное проникновение, «русским духом», бытом, вкусом, обычаями, представлениями, взглядами, а из них многие нельзя в их генезисе оторвать от православия — исторической религиозной подосновы русской культуры. Прияв это с Востока, Русская церковь с почтением склонялась пред образом монаха — старца, святого и одновременно мудрого, постигающего высшие веления Бога, подвигающегося «в терпении, любви и мольбе». В «Братьях Карамазовых» монах Зосима мудр не потому только, что стар, а «старец» потому, что мудр. «Старец» не возрастное определение, а духовно-качественное. Именно в этом смысле Чернышевский⁷ называл Р. Овэна⁸ «святым старцем». И когда Ленина величали «стариком», это, в сущности, было признание его «старцем», т. е. мудрым, причем с почтением к мудрости Ленина сочеталось какое-то непреодолимое желание ему повиноваться.

«Старик мудр», — говорил Красииков⁹, никто до него (!?) так тонко, так хорошо не разобрал детали, кнопки и винтики механизма русского капитализма».

«Старик наш мудр», — по всякому поводу говорил Лепешинский¹⁰. При этом глаза его делались маслянисто-нежными и всё лицо выражало обожание. Именованье «стариком», видимо, нравилось Ленину. Из писем, опубликованных после его смерти, знаем, что многие из них были подписаны: «Ваш Старик», «Весь ваш Старик».

Очень ценя Ленина еще до личного знакомства с ним, я, приехав в Женеву, был всё-таки несколько смущен атмосферой поклонения, которой его окружала группа, называвшая себя большевиками. Это меня как-то шокировало. На моем духовном развитии, несомненно, отразились встречи с двумя лицами. Сначала с проф. М. И. Туган-Барановским¹¹, который, когда я был в 1897–98 гг. студентом Технологического института в Петербурге, ввел меня в марксизм и не переставал потом толкать на изучение экономики. Второе лицо, это уже в Киеве в 1900–1903 гг., проф. С. Н. Булгаков¹², благодаря которому я стал интересоваться другим предметом — философией. Оба они крайне отрицательно относились к Ленину. В июне 1903 г. Туган-Барановский, после поездки по югу России, приехав в Киев, сделал на расширенном заседании местного социал-демократического комитета интересный доклад, предсказывавший появление в недалеком будущем крестьянского движения.

После заседания мы долго беседовали с Туган-Барановским, гуляя в Царском саду на берегу Днепра. Зашла речь и о Ленине.

— Я не буду, — говорил Туган-Барановский, — касаться Ленина как политика и организатора партии. Возможно, что здесь он весьма на своем месте, но экономист, теоретик, исследователь — он ничтожный. Он вызубрил Маркса и хорошо знает только земские переписи. Больше ничего. Он прочитал Сисмонди¹³ и об этом писал, но, уверяю вас, он не читал как следует ни Прудона¹⁴, ни Сен-Симона¹⁵, ни Фурье¹⁶, ни французских утопистов. История развития экономической науки ему почти неизвестна. Он не знает ни Кенэ¹⁷, ни даже Листа¹⁸. Он не прочитал ни Менгера¹⁹, ни Бём-Баверка²⁰, ни одной книги критиковавших теорию трудовой стоимости, разрабатывавших теорию предельной полезности. Он сознательно отвергивался от них, боясь, что они просверлят дыру в теории Маркса²¹.

Говорят о его книге «Развитие капитализма в России», но ведь она слаба, лишена настоящего исторического фона, полна грубых промахов и пробелов.

Отзывы Булгакова были не менее резки.

— Ленин нечестно мыслит. Он загородился броней ортодоксального марксизма и не желает видеть, что вне этой загородки находится множество вопросов, на которые марксизм бессилён дать ответ. Ленин их отпихивает ногой.

Его полемика с моей книгой «Капитализм и земледелие» такова, что уничтожила у меня дотла всякое желание ему отвечать. Разве можно серьезно спорить с человеком, применяющим при обсуждении экономических вопросов приемы гоголевского Ноздрева.

Получив от меня «Что делать?» Ленина, Булгаков, возвращая книгу, воскликнул:

— Как вы можете увлекаться этой вещью! Брр! До чего это духовно мелко! От некоторых страниц так и несет революционным полицейским участком.

В отзывах Тугана и Булгакова я видел след их личных столкновений с Лениным. У Тугана-Барановского могло играть и чувство «конкуренции»: он написал книгу «Русская фабрика», а Ленин одновременно почти на ту же тему «Развитие капитализма». Кроме того, их отход от марксизма, у Тугана тогда не столь далекий, у Булгакова уже полный, я считал отказом в сторону мягкотелого либерализма, в моих глазах исключавшего возможность беспри-

страстно судить и оценивать Ленина. Кое-что (может быть, даже многое) из их критики во мне всё же отлагалось, а поскольку это имело место, создавались априорные посылки, при всем уважении к Ленину, не видеть в нем не подлежащее никакой критике «партийное божество». Отсюда некоторый скрытый протест против «религиозного» преклонения пред ним женевских большевиков. Решение не поддаваться чувству преклонения, однако, скоро испарилось. Сказать, что Ленин мне понравился, было бы мало. Сказать, что я в него «влюбился», немножко смешно, однако этот глагол, пожалуй, точнее, чем другие, определяет мое отношение к Ленину в течение многих месяцев.

А. Н. Потресов, еще с 1894 г. знавший Ленина, вместе с ним организовавший и редактировавший «Искру», позднее в течение первой и второй революции ненавидевший Ленина, познавший в годы его диктаторства тюрьму, нашел в себе достаточно беспристрастности, чтобы 23 года после смерти Ленина написать о нем (в «Die Gesellschaft») («Общество») следующие строки:

«Никто, как он, не умел так заражать своими планами, так импонировать своей волей, так покорять своей личностью, как этот на первый взгляд такой невзрачный и грубоватый человек, по-видимому, не имеющий никаких данных, чтобы быть обаятельным. Ни Плеханов²², ни Мартов²³, ни кто-либо другой не обладали секретом излучавшегося Лениным прямо гипнотического воздействия на людей, я бы сказал господства над ними. Только за Лениным беспрекословно шли как за единственным бесспорным вождем, ибо только Ленин представлял собою, в особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающей фанатическую веру в движение, в дело, с наименьшей верой в себя. Эта своего рода волевая избранность Ленина производила когда-то и на меня впечатление».

На меня гипнотическое воздействие Ленина, наверное, было больше, чем на Потресова, хотя в числе причин не стояла на первом месте влюбленность в его волю и энергию. Во-первых, мне пришлось видеть Ленина в состоянии полной подавленности, безволия, а потом какого-то болезненного изнеможения, и, во-вторых, волей и энергией меня нельзя было удивить.

К Ленину притягивала не только гармония слова и дела (оказавшаяся мнимой!), о которой я говорил. Производило впечатление что-то другое, сложное и, вероятно, эта загадочная сила и обаятельность,

о которой говорил Потресов. Мне представлялось, что в нем есть нечто крайне важное, что мне неизвестно. Что? Я не мог бы на это ясно ответить. Знаю только, что к Ленину что-то притягивало. А узнать его было совсем нелегко. Откровенность ему была чужда. Он был очень скрытный. В разговоре с Гусевым, — я был при этом, — вспоминая жизнь в Лондоне, — Ленин как-то сказал:

— Нельзя жить в доме, где все окна и двери никогда не запираются, постоянно открыты на улицу и всякий проходящий считает нужным посмотреть, что вы делаете. Я бы с ума сошел, если бы пришлось жить в коммуне, вроде той, что в 1902 г. Мартов, Засулич²⁴ и Алексеев²⁵ организовали в Лондоне. Это больше, чем дом с открытыми окнами, это проходной двор. Мартов весь день мог быть на людях. Этого я никак не могу. Впрочем, Мартов вообще феномен. Он может одновременно писать, курить, есть и не переставать разговаривать хотя бы с десятком людей. Чернышевский правильно заметил: у каждого есть уголок жизни, куда никто никогда не должен залезать и каждый должен иметь «особую комнату» только для себя одного.

«Уголок», куда он никому не позволял «залезать», у Ленина был очень обширным. Домом с открытыми дверями и окнами он совсем не был. На окнах всюду были ставни с крепким запором. В то, что он считал своей частной жизнью, никто не подпускался. Но как узнать Ленина, не зная ровно ничего из этой частной жизни? Из одних разговоров на партийные темы, как бы они ни были интересны, Ленина не узнаешь. Чтобы заглянуть в Ленина, нужно было подходить к нему с самых разных сторон. Например: любит ли он театр, любит ли он музыку? Разговор о театре однажды возник и тут же заглох. Что же касается музыки, прекрасно помню слова Ленина, сказанные Красикову (тот играл, и кажется хорошо, на скрипке):

«Десять, двадцать, сорок раз могу слушать *Sonate Pathetique* Бетховена²⁶, и каждый раз она меня захватывает и восхищает всё более и более».

Вступать в разговор о Бетховене мне не полагалось. В этой области был и остаюсь полнейшим профаном. Две смежные вещи всё-таки заметил. У Ленина был превосходный музыкальный слух. Сужу по тому, что он мастерски, во время игры со мною в шахматы (играл превосходно!), насвистывал сквозь зубы разные мелодии. Несомненно, было и другое: огромная любовь к пению.

Присяжным певцом при Ленине был Гусев, при весьма неказистой наружности обладавший прекрасным баритоном. (В 1927 г. в день трехлетия смерти Ленина советское радио, сообщая о разных фактах его жизни, указало, что Ленин любил пение и в Женеве в 1904 г. ему часто пела моя жена. В. Н. Вольская помнит только один случай, когда она пела в присутствии Ленина. Пела романс «Пусть плачет и стонет мятежная буря» и революционную песню «Как дело измены, как совесть тирана» — вещи, очень понравившиеся Ленину.)

В течение января и февраля, до момента, когда Ленин весь ушел в писание «Шаг вперед — два назад», Гусев постоянно пел на ратах, еженедельно происходивших у Ленина с целью укрепления связи между большевиками Женевы. В его репертуаре было четыре коронных арии, особенно нравившиеся Ленину: первая — «Нас венчали не в церкви», кажется — Даргомыжского²⁷, вторая ария из оперы «Нерон» Рубинштейна²⁸ — «Пою тебе, бог Гименей». За этим всегда следовал романс, написанный Чайковским²⁹ на слова славянофила Хомякова³⁰.

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг в терпеньи,
Любви и мольбе.

Подвижничество, выражающееся в «терпении, любви и мольбе», было, разумеется, абсолютно чуждо Ленину. Он хотел подвига в сражениях, хотел «драться», и Гусев, как бы отвечая на такое желание Ленина, оборачиваясь в его сторону, глядя на него, нажимая, «педалировал» следующую строфу романса:

С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись.
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них!

Это звучало приглашением, вместе с тем пророчеством, и оно сбылось. Вещью, которой Гусев обычно оканчивал свое вокальное выступление, был элегический романс того же Чайковского на слова великого князя К. Романова³¹:

Растворил я окно, стало душно не в мочь,
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.
А вдали где-то чудно запел соловей,
Я внимал ему с грустью глубокой

и т. д.

Какие переживания связывались у Ленина с последним романсом? Он, конечно, никому бы об этом не сказал. Романс Чайковского, очевидно, ему говорил что-то многое. Он бледнел, слушал, не двигаясь, точно прикованный, смотря куда-то поверх головы Гусева, и постоянно просил Гусева повторить. Однажды Гусев, принимаясь за вторичное исполнение, захотел немного подурачиться и, дойдя до слов «опустился пред ним на колени», действительно, стал на колени и в таком положении, повернувшись к окну, продолжал петь. Все присутствующие рассмеялись. Ленин же сердито цыкнул на нас: «Тсс! Не мешайте!». После одного такого раута я сказал Гусеву: «Заметили ли вы, какое впечатление производит на Ленина ваш романс! Он уходит в какое-то далекое воспоминание. Уверен *cherchez la femme*».

Гусев засмеялся:

— Я то же предполагаю. Думали ли вы когда-нибудь, откуда происходит псевдоним Ленина? Нет ли тут какой-то Лены, Елены! Я спросил Ильича — почему он выбрал этот псевдоним, что он означает? Ильич посмотрел на меня и насмешливо ответил: много будете знать — скоро состаритесь.

Кроме того, что Ленин был в ссылке, а перед этим жил в Петербурге, у меня не было никаких сведений о его прошлой жизни. Полагая, что он об этом знает, я обратился к П. Н. Лепешинскому. Я уже сказал, что он обожал Ленина почти так, как сентиментальные институтки «обожают» некоторых своих учителей. У него была не только уверенность в полной победе Ленина над меньшевиками, было еще предчувствие какой-то особой, великой, судьбы, ожидающей Ленина.

— Ильич, — таинственно сказал он мне однажды, — нам всем покажет, кто он. Погодите, погодите — придет день. Все тогда увидят, какой он большой, очень большой человек.

Узнав, что меня интересует прошлая жизнь Ленина, Лепешинский вытянулся во весь рост, наставительно поднял над го-

ловою палец и учительским тоном, в упор глядя на меня белесоватыми глазами, сообщил:

— Запомните, хорошенько запомните на всю жизнь: Ленин родился в 1870 г. в Симбирске. Окончив гимназию, стал студентом Университета в Казани, откуда был исключен за революционное поведение. Жил потом в Самаре, потом переехал в Петербург, где обнаружили его великие политические таланты и где появились его первые блестящие произведения. Он сидел в Петербурге в тюрьме, был сослан в Сибирь, в Минусинский район. Там, тоже находясь в ссылке, живя от него на расстоянии 30 верст, я имел счастье и честь познакомиться с Ильичом. Это там он написал свою замечательную книгу «Развитие капитализма в России».

Города, указанные Лепешинским, я знал: и Самару, и Казань, и Симбирск. В последнем от парохода до парохода я пробыл целый день. С его зданиями конца XVIII и начала XIX столетия, садами, тихими улицами, площадью у собора, заросшей кудрявой травкой, дивными видами на Волгу — Симбирск показался мне самым красивым приволжским городом. «Заведу, — думал я, — разговор с Лениным о всех городах, где он жил, наверное, многое узнаю о его прошлой жизни. Лучшего предлога втянуть “Ильича” в такой разговор не найти».

— Владимир Ильич, вы родились в Симбирске — значит, на Волге. Вы учились в Казани — тоже на Волге. Жили потом в Самаре — опять же на Волге. Можно сказать, почти две трети вашей жизни прошли около Волги. Она должна вам что-то говорить и, конечно, больше чем другим. Вы, наверное, Волгу очень любите. Не правда ли? То, что входит в душу человека в детские и юношеские годы, остается в ней навсегда. Не правда ли?

Ленин как-то странно, искоса, посмотрел на меня и, может быть, это мне почудилось, пожал плечами. И ничего не ответил. Вышло как будто я развязно залезаю в «уголок», куда Ленин никого не пускает, пристаю к нему с вопросами, отвечать на которые, откровенничать, говорить о себе он не испытывает никакого желания (Ленин, несомненно, очень часто испытывал тоску по Волге. В 1902 г. он писал из Лондона матери: «Хорошо бы летом на Волгу. Как мы великолепно по ней прокатились с тобой и Анютой весной 1900 г.!». В 1910 г., направляясь из Марселя к Горькому³² на Капри, он пишет матери: «Ехал как по Волге — дешево и приятно», а Горькому говорит: «Едучи к Вам — все Волгу вспоминал».

В 1911 г. в письме к М. Т. Елизарову — мужу старшей сестры признается: «Соскучился я по Волге». В 1912 г. в марте запрашивает мать: «Как-то у вас весна на Волге?».).

Замятая оказавшийся неуместным вопрос «о Волге», я быстро перешел к Кама. Мне много раз приходилось ездить на пароходе от Уфы по реке Белой, Кама до Казани. Там, где Белая впадает в Каму и дальше, берега покрыты липами. Когда эта масса лип цветет, от сладкого аромата даже у находящихся на пароходе кружится голова. Недаром одна из пристаней на Кама называлась «Бор». (Кравченко³³ в своей книге «Я избрал свободу» упоминает о «Красном Боре» на Кама. Пьяный бор, очевидно, переименован.)

Ленин, внимательно выслушав меня, сказал, что Кама — действительно «красавица», он с большим удовольствием перед отъездом за границу прокатился по ней и Белой, отправляясь в Уфу. О Волге — ни слова! Он явно не хотел о ней говорить. Вход посторонним в этот уголок был закрыт...

Наш разговор происходил во время прогулки в ближайшие к Женеве горы. Ленин, Крупская и я сидели на небольшом выступе. Сзади нас, точно обрубленная топором, подымалась гладкая, как стена, высокая гора. Спереди — глубокая пропасть с прицепившимися к ее краю кустами. На горизонте цепь холмов от игры солнца с несущимися облаками, постоянно менявших окраску, казавшихся то серыми, то темно-синими, то почти черными.

— Вот мы любуемся этой красотой, — и Ленин указал на горы, — а десятки, сотни миллионов людей, кроме курной избы, зловонной фабрики, грязной улицы, ничего во всю жизнь не увидят. И непременно найдутся дурни (Ленин произносил: «дурррни» с раскатом), которые будут уверять, что народ по своей толстокожести не способен понимать и ценить красоту природы. Дурни не понимают, что у людей, истомленных тяжелым, а иногда каторжным трудом, — больше желания вдоволь выспаться, чем любоваться восходом солнца. В этом суть.

Не так давно мы с Надеждой Константиновной (Крупской) взбирались на Салэв (гора у Женевы) встречать восход солнца. Компанионами оказались двое рабочих, на вершине горы от нас отделившихся. Спускаясь с горы, мы их опять встретили и спрашиваем: не правда ли, восход солнца был очень красив? Они отвечают:

«К сожалению, ничего не видали, весь день до этого работали, устали, в ожидании восхода солнца прилегли немного отдохнуть, да и проспали». Вот вы говорите о воспоминаниях детства и их идеализации. Такое явление имеет место главным образом среди состоятельных классов общества. У меня, по-видимому и у вас, сохраняются весьма приятные воспоминания о детстве. Жили мы в тепле, голода не знали, были окружены всякими культурными заботами, книгами, музыкой, развлечениями, прогулками. Но ведь этого нельзя сказать о детях рабочих и крестьян. Какие приятные воспоминания о детстве может сохранить крестьянский мальчуган, которого чуть ли не в шесть лет заставляют нести тяжелую работу вроде полки?

Только социализм может принести изменения в этой области и создать у массы любовь к природе, иное к ней отношение. До этого народным массам любить природу — невозможно. Состоятельные классы могут во всем ее разнообразии познавать красоту природы, практикуя путешествие, туризм. Но рабочим и крестьянам туризм недоступен. Посмотрите на маленьком примере, что из этого получается. В горах Германии, мы это с Надеждой Константиновной видели, совершая экскурсии из Мюнхена, устраиваются шалаши, домики для усталых или просто желающих в них провести ночь туристов. То же самое есть и в других странах. Те, кто имеют возможность заниматься туризмом, следовательно, при надобности и пользоваться этими шалашиками, разумеется, их ценят и охраняют. Но для других, для массы — туризм неизвестное явление. Случайно попадая в горы и видя такой шалаш, они обращаются с ним как с вещью ненужной, они ее больше не увидят и назначение ее не ценят. Добро, если бы дело ограничивалось одними дурачками, иногда и похабными, надписями. Бывает хуже. Шалаши от нечего делать, от того, что руки чешутся, подвергаются мамаеву побоищу. Всё ломают, а потом уйдут. Уйдут, конечно, безнаказанно, — кто их там видит!

Почему буржуа этого не сделают, а иной из рабочих на это оказывается способным? Да именно по причинам только что указанным. Шалаши — вопросик микроскопический, а когда думаешь о нем, видишь, что связан он с вопросами большими — изменением социальных условий, повышением культуры народа, воспитанием масс и, добавлю, если не хотят походить на персонажа из басни Крылова «Кот и повар», с некоторыми принудительными

и репрессивными мерами. Об этом не следует забывать. Когда мальчишка сидит в школе и перочинным ножом жестоко увечит парту, в какой-то момент бывает очень полезен щелчок по рукам, как бы на это ни возражала Надежда Константиновна. А иные взрослые бывают много хуже и вреднее этого мальчишки.

Итак, по Ленину, а я передаю его речь, следовало, что при существующих социальных условиях народные массы по-настоящему любить природу никак не могут. Утверждение до такой степени неверное, надуманное, противоречащее фактам, что оспаривать, опровергать его мне и в голову не пришло. Стоит только заметить, что оно очень гармонирует с позднейшим «пораженческим» тезисом Ленина: пролетариат не может любить свою страну и быть патриотом, пока строй, в котором он живет, не превращен в социалистический. Не на эту сторону его речи я обратил внимание, слушая Ленина. Гораздо интереснее мне показалось указание на щелчок мальчугану, портящему парту, и на те принудительные и репрессивные меры, которыми нужно обеспечить сохранность того, что Ленин назвал «шалашиками» — их нужно понимать, конечно, в расширенном смысле. Помню, что на счет щелчка я вполне согласился с Лениным, но Крупская укоризненно качала головой.

Не только Крупская не сходилась с «Ильичем» в этом вопросе. Можно с уверенностью сказать, что в партии никто тогда не думал, что социалисты могут прибегать к «щелчкам» и репрессивным мерам по отношению к народным массам. О щелчках, притом жестоких, весьма думали, но они предназначались не «своим», а «чужим» — слугам самодержавия, буржуазии, входя в понятие революции и «диктатуры пролетариата». Что же касается воздействия на народную массу, оно представлялось исключительно в виде идейного воспитания, внушения, уговаривания, апелляции к разуму, совести, расчету. Я почувствовал, что в этой очень важной области взгляды Ленина далеко отходят от сентиментальной и политической «педагогике», разделяемой всеми социалистами. Это найденное отличие Ленина от других партийцев лишь увеличило у меня желание заглянуть, если удастся, поглубже в Ленина. Что я в нем еще найду?

Хорошим способом узнать побольше о Ленине мне казался разговор о художественной литературе. Какие произведения он любит, какие люди ему в них интересны, что в них нравится или

не нравится? Я сказал об этом В. В. Воровскому³⁴ — в отеле его комната была рядом со мною; до отъезда в Россию он часто со мною вел разговор на самые разнообразные темы. С ним можно было говорить о многом: о дифференциалах, интегралах, механике и художественной литературе. Воровский улыбнулся.

— Поисследовать Ленина хотите, ну что же — попробуйте. Он всех нас исследует, займемся и мы им. Я тоже этим делом занимался. Но предупреждаю, Ильич очень часто любит делать «глухое ухо». Я хотел однажды узнать — читал ли он Шекспира, Байрона, Мольера, Шиллера³⁵. В ответ ни да, ни нет не получил, всё же понял, что никого из них он не читал и дальше того, что слышал в гимназии, не пошел. Изучая в Сибири немецкий язык, он прочитал в подлиннике «Фауста» Гёте³⁶, даже выучил наизусть несколько тирад Мефистофеля. Вы здесь недавно, поживете подольше — непременно услышите как в полемике с кем-нибудь Ленин пустит стрелу:

«Ich salutiere den gelehrten Herrn
Ihr habt mich weidlich Schwitzen machen»³⁷.

Но кроме «Фауста» ни одну другую вещь Гёте Ленин не знает. Он делит литературу на нужную ему и ненужную, а какими критериями пользуется при этом различении — мне неясно. Для чтения всех сборников «Знания» он, видите ли, нашел время, а вот Достоевского сознательно игнорировал. «На эту дрянь у меня нет свободного времени». Прочитав «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание», он «Бесы» и «Братьев Карамазовых» читать не пожелал³⁸. «Содержание сих обоих пахучих произведений, — заявил он, — мне известно, для меня этого предостаточно. «Карамазовых» начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило. Что же касается «Бесов» — это явно реакционная гадость, подобная «Панургову Стаду» Крестовского³⁹, тратить на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна, — что она мне может дать?»

После того, что услышал от Воровского, желание «исследовать» Ленина с помощью его отзывов о художественной литературе не уменьшилось, а скорее увеличилось. Как к этому приступить? Ведь было бы смешно ни с того ни с другого спрашивать: Владимир

Ильич — сочинения какого автора и почему вы больше всего любите? То, что я мог в этой области получить, могло бы быть только случайным и при случайно возникшем разговоре. Так, случайно я узнал, что Ленин любит «Войну и мир» Толстого, а морально-философские размышления, которые вклеены в роман, считает глупостью. Это ничего не давало. Я не встречал еще ни одного русского человека, заявившего, что он не ценит и не любит это произведение.

Мимолетный разговор был о романах Гончарова⁴⁰. «Обрыв» Ленин совсем не ценил. Главного героя романа Райского назвал «никчемным болтуном» и другим уже непечатным словом, а в поднадзорном Марке Волохове видел «скверную карикатуру на революционеров». Отношение к «Обломову» Гончарова у него было иным и весьма оригинальным.

— Я бы взял не кое-кого, а даже многих из наших партийных товарищей, запер бы их на ключ в комнате и заставил читать «Обломова». Прочитали? А ну-ка еще раз. Прочитали? А ну-ка еще раз. А когда взмолятся, больше, мол, не можем, тогда следует приступить к допросу: а поняли ли вы, в чем суть обломовщины? Почувствовали ли, что она и в вас сидит? Решили ли твердо от этой болезни избавиться?

Случайно узнал, что в гимназии Ленин написал сочинение на тему «Пророк» Пушкина, однако разговор о том был прерван и больше не возобновлялся. Лишь позднее мне стало известно, что в Симбирской гимназии, где учился Ленин, литературу преподавал Ф. М. Керенский — отец Александра Федоровича Керенского⁴¹. (Когда Ленин писал сочинение о «Пророке» Пушкина, — сыну директора гимназии Керенского было только шесть лет. Через тридцать лет эти два уроженца Симбирска, города, по выражению Гончарова (тоже уроженца Симбирска!), погруженного в непробудный сон, «в оцепенение покоя», в своего рода «штиль на суше», предстали на фоне величайшей, потрясшей Россию, социальной бури, бешеного урагана, встав в центре не только всероссийского, а мирового внимания. Борьба этих двух русских людей из Симбирска — по своему смыслу, значению и последствиям — вышла далеко из русских границ.)

Это он многим своим ученикам, в том числе и Ленину, внушил великое почтение и любовь к Пушкину. Немилосердно ругая сына Керенского и очень хорошо отзываясь о Керенском-отце, Ленин

рассказывал об этом П. А. Красикову, а разговор о том возник по следующему поводу. В 1921 г. (или 1920 — не могу точно сказать) Ленин посетил Вхутемас — Высшее художественное училище в Москве. Если не ошибаюсь, в какой-то заметке есть о том и у Крупской. На вопрос Ленина, что читает сейчас молодежь, любит ли она, например, Пушкина, студенты и студентки Вхутемаса почти единогласно ответили, что Пушкин «устарел», они его не признают, он «буржуй», представитель «паразитического феодализма», им никто теперь не может увлекаться и все они стоят за Маяковского⁴² — он революционер, а как поэт на много выше Пушкина. (По словам Ю. П. Денике⁴³ (журнал «На Рубеже») в СССР издано, главным образом за позднейшие годы, более сорока миллионов экземпляров Пушкина, в том числе около пяти миллионов на других языках, кроме русского. Маятник с 1920 года качнулся в противоположную сторону: от отрицания «буржуя» Пушкина, от признания его «устарелым» — к глубочайшему преклонению пред ним. Это хороший показатель и общественного выздоровления, и роста культуры.)

Ленин слушал это, пожимая плечами. Стихи Маяковского он совершенно не переносил. После посещения Вхутемаса, беседуя с Красиковым, Ленин говорил:

— Совершенно не понимаю увлечения Маяковским. Все его писания штукачество, тарабарщина, на которую наклеено слово «революция». По моему убеждению, революции не нужны играющие с революцией шуты гороховые вроде Маяковского. Но если решат, что и они ей нужны, — пусть будет так. Только пусть люди меру знают и не охальничают, не ставят шутов, хотя бы они клялись революцией, выше «буржуя» Пушкина и пусть нас не уверяют, что Маяковский на три головы выше Беранже⁴⁴.

— Я передаю, — рассказывал мне Красиков, — подлинные слова Ленина. Можете их записать. Давайте сделаем большое удовольствие Ильичу — трахнем по Маяковскому. Так статью и озаглавим: «Пушкин или Маяковский?». Нужны ли революции шуты гороховые? Конечно, на нас накинутся, а мы скажем: обратитесь к товарищу Ленину, он от своих слов не откажется.

Статья не была написана, но, оставляя в стороне вопрос о нашей компетентности в этой области, она могла быть напечатанной, тогда как теперь, когда Сталин⁴⁵ изрек, что «Маяковский был и остается талантливейшим поэтом советской эпохи», «Правда»

(№ 12 ав. 1951 г.) как всегда лживо заявила, что «многие стихи Маяковского написаны под непосредственным впечатлением выступлений тов. Сталина» — всякая критика сего поэта стала невозможной — ее приказано считать «клеветой классового врага».

Более основательным был у меня разговор с Лениным о Некрасове⁴⁶. Ленин его превосходно знал и, конечно, любил. Ничего удивительного в том нет. На иконостасе нескольких революционных поколений Некрасов неизменно и по праву занимал место любимой иконы. Если что мне и показалось странноватым, так это почти нежное сочувствие Ленина крестьянофильским пассажам в стихотворениях Некрасова и особенно в «Кому на Руси жить хорошо». В моих глазах это плохо увязывалось с марксистской любовью Ленина к пролетариату, — ведь обычно его мыслили как антипода крестьянства. Говоря о Некрасове, я заметил (знаю теперь — ошибочно), что хотя он много писал о деревне — у него нет особо хороших описаний природы.

— Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь! — воскликнул Ленин, а ну-ка попробуйте найти лучшее, чем у Некрасова, описание ранней весны. — И картавя, катая «р», он продекламировал:

Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!
Как молоком облитые,
Стоят сады вишнёвые,
Тихохонько шумят;
Пригреты тёплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса;
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая берёзонька
С зелёною косой!

Ленин после этого два раза, точно вталкивая в меня, чтобы я это понял, повторил:

И липа бледнолистая,
И белая берёзонька
С зелёною косой!

— А вы любите липу? — спросил я.

— Это самое, самое любимое мною дерево!

С большим жаром продекламированный «Зеленый Шум» и то, что мимоходом уже приходилось слышать от него, — мне показали, что Ленин действительно любит природу, хотя об этом нельзя предположить, судя, например, по тем невероятно, до дикости, грубым строкам, которые изредка он посвящал искусству и литературе. «Поэтическая» любовь к природе у человека столь мало поэтического как Ленин, конечно, вызвали у меня удивление, а через несколько дней мне пришлось испытать и другое удивление.

Некая дама приехала в Женеву с специальной целью познакомиться с Лениным. У нее от Калмыковой (*persona grata*⁴⁷, дававшая в 1901–03 гг. деньги на «Искру») было письмо к Ленину. Имея его, она была уверена, что будет им принята с должным вниманием и почтением. После свидания дама жаловалась всем, что Ленин принял ее с «невероятной грубостью», почти «выгнал» ее. Гусев передал об ее сетованиях Ленину, и тот пришел в величайшее раздражение:

— Эта дура сидела у меня два часа, отняла меня от работы, своими расспросами и разговорами довела до головной боли. И она еще жалуется. Неужели она думала, что я за ней буду ухаживать. Ухажерством я занимался, когда был гимназистом, на это теперь нет ни времени, ни охоты. И за кем ухаживать? Эта дура подлинный двойник Матрены Семеновны, а с Матреной Семеновной я никаких дел иметь не желаю.

— Какая Матрена Семеновна? — с недоумением спросил Гусев.

— Матрена Семеновна Суханчикова из «Дыма» Тургенева⁴⁸.
Стыдно не знать Тургенева.

С этого дня, к величайшему моему удивлению и особому удовольствию (Тургенева я очень любил), я узнал, что Ленин великолепно знает Тургенева, намного лучше меня. Он помнил и главные его романы, и рассказы, и даже крошечные вещицы, названные Тургеневым «Стихотворения в прозе». Он, очевидно, читал Тургенева очень часто и усердно, и некоторые слова, выражения Тургенева, например из «Нови», «Рудина», «Дыма», въелись в его лексикон.

Кроме Воровского и меня этого никто не замечал. Так, по поводу самоубийства в Сибири Федосеева⁴⁹ он сказал: «Однако Федосеев не был барчуком и хлюпиком вроде Нежданова» (персонаж

из «Нови»). Другой раз от Ленина можно было услышать: «Это не человек, а китайский болванчик, слова, слова, а дел нет» (лишь немножко измененная фраза из «Рудина»). Он очень часто пользовался ненавистным ему образом Ворошилова из романа «Дым» Турненева. Представление о нем у Ленина обычно сопровождалось накатом жгучего презрения. Обозвать кого-нибудь из пишущей братии Ворошиловым он считал одним из сильнейших оскорблений, и из произведений Ленина мы знаем, что таким эпитетом немилосердно злоупотреблял.

Например, в статье «Аграрный вопрос и критика Маркса», напечатанной в «Заре» (1901 г. № 2–3), полемизируя с В. М. Черновым⁵⁰, Ленин 14 раз именуется Ворошиловым, делая к этому добавления вроде: «Ворошилов извращает», «Ворошилов безбожно путает», «Ворошилов хвастается», «За Ворошиловым не угнаться» и т. д. Явно наслаждаясь, что нашел наименование достаточно ругательное, он в той же статье называет Ворошиловым проф. С. Н. Булгакова (за большую работу последнего «Капитализм и земледелие»), австрийского социалиста Герца, писавшего на ту же тему, сотрудников журнала «Sozialistische Monatshefte», чтобы в конце концов заявить, что Ворошиловы, «критикующие взгляды Маркса на аграрный вопрос» — «везде одинаковы: и в России, и в Австрии».

К бежавшему в 1902 г. из ссылки молодому Троцкому⁵¹ Ленин одно время относился с большим благоволением, но после съезда Троцкий оказался в рядах меньшевиков и Ленин иначе как Ворошиловым его уже не называл, причем для большего клеймения к Ворошилову присоединял эпитет «Балалайкин» (Щедрина⁵²). Помню — 1 мая 1904 г. в Женеве Троцкий на митинге эмигрантов произнес излишне цветистую, все же эффектную речь. Когда я передал Ленину мое впечатление об этом выступлении, в глазах его пробежал насмешливый огонек: «С печалью констатирую — вам нравятся речи Ворошиловых-Балалайкиных».

— Но вы не можете отрицать, что Троцкий превосходный оратор?

— Все Ворошиловы-Балалайкины — ораторы. В эту категорию входят недоучившиеся краснобай-семинаристы, болтающие о марксизме приват-доценты и паскудничающие адвокаты. У Троцкого есть частицы от всех этих категорий.

Через полтора месяца в категорию Ворошиловых попаду и я!

Если мотивы влечения Ленина к некоторым произведениям Тургенева («будучи в гимназии, — сказал он мне, — я очень любил “Дворянское гнездо”») приходится узнавать лишь с помощью догадок, различных сопоставлений и сближений с различными его высказываниями, есть одна вещь Тургенева, в которой можно уже точно указать, какие в ней мысли им особенно ценились. Имею в виду рассказ «Колосов», а касаясь его, мы неизбежно придем к весьма интимной стороне жизни Ленина.

В тот период, когда ко мне «благоволила» и Крупская, она часто рассказывала о разных фактах из его жизни. Лишь после одного происшествия, о нем я скажу позднее, она стала весьма осторожной или, употребляя выражение из ее «Воспоминаний», «скупой» в своих рассказах. Я узнал от нее, что, будучи в ссылке в Сибири, Ленин, желая возможно скорее и лучше овладеть немецким языком, решил переводить с русского на немецкий и обратно произведения авторов, которых он знал и любил. В 1898 г. в качестве приложения к журналу «Нива» было издано полное собрание сочинений Тургенева. Ленин, именно потому, что еще со времен юности любил Тургенева, попросил родных прислать ему это собрание вместе с немецким словарем, грамматикой и существующими переводами на немецкий язык произведений Тургенева.

«Мы, — рассказывала Крупская, — иногда по целым часам занимались переводами... Ильич выбирал у Тургенева страницы, по тем или иным причинам наиболее для него интересные». Так, с большим удовольствием Ильич переводил ехидные речи Потугина в романе «Дым». (Выражение «ехидные речи» Потугина слишком мягко! Ведь Потугин доказывал, что Россия ничего не дала мировой цивилизации и культуре, что «даже самовар, лапти, дугу — эти наши знаменитые продукты, — не нами выдуманы». Он высмеивал русскую науку: «у нас мол, дважды два тоже четыре, да выходит как-то бойчее». Ныне в Кремле объявлено, что все мировые открытия и изобретения сделаны в СССР — России, она венец мировой культуры, — поэтому Потугина за «подлое», «изменническое, космополитское преклонение пред Западом» наверное посадили бы в концлагерь или прикончили бы в подвале МГБ. — Роман «Дым», насколько мне известно, не перепечатывается в СССР, так же как, но уже по другим причинам (оскорбление революции) тургеневский роман «Новь». Речи Потугина в «Дыме» представляют в русской литературе крайнее, искривленное, перегнутое

проявление западничества. Это по поводу «Дыма» Достоевский злобно писал, что Тургеневу (Кармазинову в «Бесах») водосточные трубы в Карлсруэ дороже всех вопросов России. Очевидно, Ленин в Сибири был охвачен «низкопоклонством» пред Западом — раз с «большим удовольствием переводил «ехидные речи Потугина»!).

По настоянию Ильича, особенно тщательно мы перевели некоторые страницы из рассказа «Колосов». На эту вещь он обратил большое внимание еще в гимназии и крайне ценил ее. По его мнению, Тургеневу в нескольких строках удалось дать самую правильную формулировку, как надо понимать то, что напыщенно называют «святостью» любви. Он много раз мне говорил, что его взгляд на этот вопрос целиком совпадает с тем, что Тургенев привел в «Колосове». Это, говорил он, настоящий, революционный, а не пошло-буржуазный взгляд на взаимоотношения мужчины и женщины.

Весьма заинтересованный тем, как же Ленин смотрит на «святость любви», я, конечно, отыскал «Колосова» и вновь прочитал его. Рассказ слабый, бесцветный, не я один, а обычно все проходят мимо него. Ничего из него не западает, ничто в нем не останавливает. Странно, думал я, как могла такая вещь «крайне цениться» Лениным! В Женеве я мог этим удивлением ограничиться и о том, что говорила Крупская, позабыть. Но в свете того, что с Лениным позднее случилось — о «Колосове» нужно поговорить подробнее.

Лицо, от имени которого ведется рассказ, называет Колосова человеком «необыкновенным». Он полюбил девушку, потом разлюбил ее и от нее ушел. Помилуйте, что же тут необыкновенного? Это ежедневно и ежечасно всюду случается. Необыкновенно то, отвечает рассказчик, что Колосов это сделал смело, порывая со своим прошлым, не боясь упреков.

«Кто из нас умел во время расстаться со своим прошлым? Кто, скажите, кто не боится упреков, не говорю — упреков женщины, упреков первого глупца? Кто из нас не поддавался желанию то щегольнуть великодушием, то себялюбиво поиграть с другим преданным сердцем? Наконец, кто из нас в силах противиться мелкому самолюбию, мелким хорошим чувствам: сожалению и раскаянию? О, господа, человек, который расстается с женщиной, некогда любимой, в тот горький и великий миг, когда он невольно сознает, что его сердце не всё, не вполне проникнуто ею, этот человек, поверьте мне, лучше и глубже понимает святость

любви, чем те малодушные люди, которые от скуки, от слабости продолжают играть на полупорванных струнах своих вялых и чувствительных сердец. Мы все прозвали Андрея Колосова человеком необыкновенным. И если ясный простой взгляд на жизнь, если отсутствие всякой фразы в молодом человеке может называться вещью необыкновенной, Колосов заслужил данное ему имя. В известные лета быть естественным — значит быть необыкновенным».

В этих словах квинтэссенция рассказа Тургенева. Является ли поведение Колосова «революционным» или «пошло-буржуазным», в это входить, конечно, не буду. Важно, что рассуждения Колосова Ленин одобрял, именно таков, по словам Крупской, был его взгляд на вопрос. Близкие отношения мужчины и женщины должны быть основаны на безраздельной, полной любви и искренности. Как только человек чувствует и сознает, что его сердце уже «не вполне» проникнуто женщиной, еще недавно им любимой, не боясь упреков, не поддаваясь «мелким чувствам» (Ленин очень часто употреблял эти слова), он должен с нею расстаться. Этого требует «святость любви», так поступать значит «быть естественным».

Многие страницы жизни Ленина, в частности в бытность его гимназистом, остались для всех его биографов неизвестными. Они не выплыли ни в одном из воспоминаний о нем: канонизация Ленина не допускала появления каких-либо сообщений вне тех, коими очерчен его установленный верхами партийный образ вождя. Опираясь на фразу, брошенную Лениным Гусеву — «ухажерством я занимался, когда был в гимназии», — можно предположить, что экспансивный, бурливый юноша, каким был Владимир Ульянов, — этим делом, действительно, занимался (я это плохо себе представляю!). В садах на берегу Волги или в Киндяковском лесу, описанном в романе «Обрыв» — и бывшем местом свидания влюбленных парочек, ему, допустим, случалось объясняться в любви каким-нибудь гимназисткам, а потом эта «любовь» ему надоедала и без долгих фраз он расставался с предметом своего увлечения. Тургеневский Колосов с его «ясным и простым взглядом на жизнь» мог служить примером. И так как отсутствие клятв в вечной любви, «отсутствие всякой фразы в молодом человеке» в этом возрасте — вещь необыкновенная, Владимир Ульянов мог считать себя уже тогда человеком тоже необыкновенным. О «необыкновенности» тут, конечно, смешно и говорить. Здесь только

малюсенькая и легкомысленная «философия», свойственная сотням тысяч или миллионам юношей.

Иным и весьма серьезным делается воззрение Колосова в зрелом возрасте. Раз Ленин прожил с Крупской без малого тридцать лет (они познакомились в 1894 г.) и всё время придерживался кодекса Колосова — значит, его сердце всю жизнь было проникнуто любовью к ней одной. Будь иначе, во имя проповедуемой им «святости любви», не боясь упреков «глупцов», не поддаваясь «мелким чувствам» (среди них — раскаянию и сожалению), он смело расстался бы со своим прошлым, покинул бы Крупскую, хотя в течение многих и многих лет она была вернейшей и преданной спутницей его жизни. Так должен бы я заключить, слушая в 1904 г. Крупскую, но то, что произошло с Лениным позднее, — свидетельствует о полном поправлении им кодекса Колосова.

Жизнь больших исторических фигур, а кто будет отрицать, что Ленин вошел в большую историю? — всегда интересует людей. Все хотят знать (биографы спешат на это ответить) не только, чем облагодетельствовал мир, например, Наполеон⁵³ или сколько сотен тысяч людей он отправил на тот свет, но кем он был, как жил, что любил, как любил. Только обладая множеством данных, вплоть до мелочей, можно иметь пред глазами полный, не вымышленный, образ человека, «сделавшего историю». С этой точки зрения могла быть интересной появившаяся в издании Bandiniere книга «Les amours secretes de Lenine»⁵⁴, написанная двумя авторами: французом (вероятно, он был только переводчиком) и русским. Впервые в виде статей она появилась в 1933 г. в газете «Intransigeant».

За книгу многие ухватились, даже много писали о ней, поверив, что у Ленина были интимные отношения с некоей Елизаветой К. — дамой «аристократического происхождения». В доказательство авторы приводили якобы письма Ленина к этой К. Даже самый поверхностный анализ названного произведения немедленно обнаруживает, что оно плод тенденциозной и очень неловкой выдумки. Но если у Ленина не было этой секретной любви — отсюда не следует выводить, что в течение всей своей жизни он оставался верным только Крупской и не имел связи с другой женщиной. Это очень интимная область, о ней было как-то неловко писать, но теперь, когда имя этой «другой женщины» названо полностью в печати (со слов А. М. Коллонтай⁵⁵ ее называет г. Марсель Води в апрельском номере 1952 г. журнала «Preuves») — ничто уже не мешает

подробно рассказать об этом происшествии в жизни Ленина, никогда не бывшим секретом для его старых товарищей (Зиновьева, Каменева, Рыкова)⁵⁶. Ленин был глубоко увлечен, скажем, влюблен, в Инессу Арманд⁵⁷ — его компаньонку по большевистской партии. Влюблен, разумеется, по своему, т. е., вероятно, поцелуй между разговором о предательстве меньшевиков и резолюцией, клеймящей капиталистических акул и империализм.

Инесса Арманд родилась в 1879 г. в Париже, ее родители французы, отец артист, избравший псевдонимом имя Стеффен. После смерти родителей Инесса осталась бесприютным ребенком и была взята на попечение своей тетки, бывшей гувернанткой в семье Евгения Арманд, имевшего фабрику шерстяных изделий в Пушкино, в 30 километрах от Москвы. Инесса воспитывалась вместе с А. Е. Арманд — сыном фабриканта и за него потом вышла замуж (от этого брака трое детей).

На путь революционной деятельности Инессу, по-видимому, толкнул старший брат ее мужа — Борис Евгеньевич, еще в 1897 г. привлекавшийся полицией за хранение мимеографа для печатания революционных прокламаций. Но этот сын фабриканта, агитировавший рабочих против своего отца, постепенно «отрезвляется» и от революции отходит; наоборот, Инесса всё более и более страстно ей предается. В качестве агитаторши и пропагандистки она выступает сначала в Пушкино, потом в Москве. Те, кому приходилось ее видеть в Москве в 1906 г., надолго запомнили ее несколько странное, нервное, как будто ассиметричное лицо, очень волевое, с большими гипнотизирующими глазами. Ее арестовывают в первый раз в 1905 г., потом в 1907 г. и отправляют на два года в ссылку в Архангельскую губернию, не дождавшись двух месяцев до окончания срока, она скрывается за границу, в Брюссель, где слушает лекции в Университете. Несмотря на ее разрыв с мужем, происшедший, кажется, без всяких драм, семья Арманд ее снабжает средствами. Всё время своей эмиграции, т. е. до 1917 г., в деньгах она не нуждается. В 1910 г. она приезжает в Париж и здесь происходит ее знакомство с Лениным. В кафе на avenue d'Orleans его часто видят в ее обществе. В 1911–12 гг. внимание, которым ее окружает Ленин, всё время растет. Оно бросается в глаза даже такому малонаблюдательному человеку, как французский социалист — большевик Шарль Рапорт: «Ленин, — рассказывал он, — не спускал своих монгольских глаз

с этой маленькой француженки» («avec ses petits yeux mongols il epiait toujours cette petite française»). Наружность Инессы, ее интеллектуальное развитие, характер делали из нее фигуру бесспорно более яркую и интересную, чем довольно-таки бесцветная Крупская. Ленин ценил в Инессе — пламенность, энергию, очень твердый характер, упорность.

— Ты, — писал он ей 15 июля 1914 г., — из числа тех людей, которые разворачиваются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту.

Он восхищался ее знанием иностранных языков; в этом отношении она была для него незаменимым помощником на международных конференциях в Кантале и Циммервальде в 1915 г. и на первом и втором Конгрессе Коминтерна в 1919 и 1920 гг. Он доверял и её знанию марксизма: в 1911 г. в партийной школе в Longjumeau (около Парижа) поручил ей вести дополнительные, семинарские занятия с лицами, слушающими его лекции по политической экономии. Наконец, Инесса была превосходная музыкантша, она часто играла Ленину «Sonate Pathetique» Бетховена, а для него это голос Сирены. «Десять, двадцать, сорок раз могу слушать Sonate Pathetique, и каждый раз она меня захватывает и восхищает всё более и более», — говорил Ленин.

После смерти Ленина Политбюро вынесло постановление, требующее от партийцев, имеющих письма, записки, обращения к ним Ленина, передать их в архив Центрального Комитета, что с 1928 г. фактически было передачей в полное распоряжение Сталина. Этим путем, нужно думать, попали в архив и письма Ленина к Инессе.

В отличие от писем, обращенных к другим лицам, почти всех напечатанных еще до 1930 г., — письма Ленина к Инессе — за исключением трех напечатанных в 1939 г. — начали появляться в «Большевике» лишь в 1949 г., т. е. 25 лет после смерти Ленина. Ряд понятных соображений («разоблачение интимной жизни Ильича») препятствовал их появлению. Только в 1951 г. — 27 лет после смерти Ленина — в 35 томе четвертого издания его сочинений опубликованы (конечно, не все, а с осторожным выбором!) некоторые письма, свидетельствующие, что отношения Ленина с Инессой были столь близкими, что он обращался к ней на «ты». Из писем можно установить, что это интимное сближение произошло осенью 1913 года. Инесса тогда только что бежала из России,

куда поехала с важными поручениями Ленина и попала в тюрьму. Ленин и Крупская жили в это время в Кракове. В своих «Воспоминаниях» Крупская пишет:

«Осенью 1913 г. мы все очень сблизились с Инессой.

У нее (после сидения в тюрьме) появились признаки туберкулеза, но энергия не убавилась. У нее много было какой-то жизнерадостности и горячности. Уютнее и веселее становилось, когда приходила Инесса. Мы с Ильичом и Инессой много ходили гулять. Ходили на край города, на луг (луг по-польски — блонь). Инесса даже псевдоним себе с этих пор взяла — Блонина. Инесса была хорошая музыкантша. Очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил *Sonate Pathetique* и просил ее постоянно играть»...

В конце 1914 г. Ленин в письмах к Инессе, с целью, вероятно, не афишировать их отношения, переходит с «ты» снова на «вы». Между ними в это время происходит любопытная переписка о свободе любви, однако то, что писала Инесса Ленину, известно лишь по немногим словам, в своем ответе цитируемых Лениным. Инесса прислала ему план своей брошюры о женском вопросе, выставив в ней «требование свободной любви». Ленин в письме от 17 января 1915 г. советует это требование выкинуть. «Это не пролетарское, а буржуазное понимание любви». У «буржуазных дам», по его мнению, оно сводится к «свободе от деторождения и свободе адюльтера». Инесса, возражая, «не понимает, как можно отождествлять свободу любви с адюльтером».

«Вы, — отвечает ей Ленин (письмо от 24 января 1915 г.), — забыв объективную и классовую точку зрения, переходите в атаку на меня... “Даже мимолетная страсть и связь, — пишете Вы, — поэтичнее и чище, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов”. Так собираетесь Вы писать в брошюре. Логично ли это противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен, им надо противопоставить... что? казалось бы, — поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете “мимолетную” (почему мимолетную?) “страсть” (почему не любовь?). Выходит, по логике — будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским. Странно! Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентский-крестьянский пошлый и грязный брак без любви пролетарскому гражданскому браку с любовью. С добавлением,

если уж непременно хотите, что и мимолетная связь, страсть, может быть грязной, может быть чистой»...

Крошечная стычка, эхо которой дошло до нас через стену партийной цензуры, — отнюдь не изменила их отношений. В 1915 г. Инесса приезжает в Берн и поселяется рядом с Лениным, «наискосок от нас, — пишет Крупская, — в тихой улочке, примыкавшей к Бернскому лесу. Мы часами бродили по лесным дорогам. Большею частью ходили вдвоем: Владимир Ильич и мы с Инессой». На лето Ленин и Крупская поехали в Соренберг — «к нам туда приехала Инесса»...

Инесса Арманд умерла от холеры 24 сентября 1920 г. в Нальчике на Кавказе, куда поехала отдыхать. Похоронена, как Воровский, Дзержинский и другие первые коммунисты, на Красной площади у стен Кремля в «братской могиле» между Никольскими и Спасскими воротами. Смерть ее глубоко потрясла Ленина. На похоронах, по словам Коллонтай, он «был неузнаваем». Он шатался, «мы думали, что он упадет».

Знала ли Крупская об отношениях между Лениным и Инессой? Не могла не знать, трудно было не заметить. Со слов той же Коллонтай (она хорошо знала Инессу и с нею переписывалась) Марсель Боди сообщает, что Крупская хотела «отстраниться», но Ленин не шел, не мог идти на такой разрыв. «Оставайся», — просил он. С точки зрения кодекса Колосова здесь все данные, чтобы расстаться с прошлым, не бояться упреков, не поддаваться мелким чувствам — раскаянию и сожалению. Но Ленин не хотел расстаться с прошлым, он любил Крупскую и вместе с тем Инессу — налицо два параллельных чувства. Жизнь оказалась невлезавшей ни в т. н. «революционные» декларации Колосова, ни в чепуху о «пролетарском браке» и «классовой точке зрения в любви». Нельзя не отметить проявленное потом Крупской, совершенно особое, мужество самозабвения. Под ее редакцией вышел сборник статей, посвященных «Памяти Инессы Арманд», и ее портрет и теплые строки о ней она поместила в своих воспоминаниях (см. издание 1932 г.). Это требовала память о Ленине. Далеко не всякая женщина могла бы так забыть себя...

В попытках узнать Ленина у меня были «открытия» приятно удивлявшие (например, его любовь природы, отношение к Тургеневу и т. д.), но были и открытия другого рода, ставившие просто в тупик. Об одном из них я сейчас и расскажу.

В конце января 1904 года в Женеве я застал в маленьком кафе на одной из улиц, примыкающих к площади Plaine de Plainpalais, — Ленина, Воровского, Гусева. Придя после других, я не знал, с чего начался разговор между Воровским и Гусевым. Я только слышал, что Воровский перечислял литературные произведения, имевшие некогда большой успех, а через некоторое, даже короткое, время настолько «отцветавшие», что кроме скуки и равнодушия они ничего уже не встречали. Помню, в качестве таких вещей он указывал «Вертера» Гёте, некоторые вещи Жорж Санд⁵⁸ и у нас «Бедную Лизу» Карамзина⁵⁹, другие произведения, и в их числе — «Знамение времени» Мордовцева. Я вмешался в разговор и сказал, что раз указывается Мордовцев, почему бы не вспомнить «Что делать?» Чернышевского.

— Диву даешься, — сказал я, — как люди могли увлекаться и восхищаться подобной вещью? Трудно представить себе что-либо более бездарное, примитивное и в то же время претенциозное. Большинство страниц этого прославленного романа написаны таким языком, что их читать невозможно. Тем не менее, на указание об отсутствии у него художественного дара, Чернышевский высокомерно отмечал: «Я не хуже повествователей, которые считаются великими».

Ленин до сего момента рассеянно смотрел куда-то в сторону, не принимая никакого участия в разговоре. Услышав, что я говорю, он взметнулся с такой стремительностью, что под ним стул закрипел. Лицо его окаменело, скулы покраснели — у него это всегда бывало, когда он злился.

— Отдаете ли вы себе отчет, что говорите? — бросил он мне. — Как в голову может прийти чудовищная, нелепая мысль называть примитивным, бездарным произведение Чернышевского, самого большого и талантливого представителя социализма до Маркса! Сам Маркс называл его великим русским писателем.

— Он не за «Что делать?» его так называл. Эту вещь Маркс, наверное, не читал, — сказал я.

— Откуда вы знаете, что Маркс ее не читал? Я заявляю: недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать?». Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепахал. Когда вы читали «Что делать?»?

— Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло.

— Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда негодное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют.

— Значит, — спросил Гусев, — вы не случайно назвали в 1903 году вашу книжку «Что делать?»?

— Неужели, — ответил Ленин, — о том нельзя догадаться?

Из нас троих меньше всего я придал значение словам Ленина. Наоборот, у Воровского они вызвали большой интерес. Он начал расспрашивать, когда, кроме «Что делать?», Ленин познакомился с другими произведениями Чернышевского и вообще, какие авторы имели на него особо большое влияние в период, предшествующий знакомству с марксизмом. Ленин не имел привычки говорить о себе. Уже этим он отличался от подавляющего большинства людей. На сей раз, изменяя своему правилу, на вопрос Воровского он ответил очень подробно. В результате получилась не написанная, а сказанная страница автобиографии. В 1919 году В. В. Воровский — он был короткое время председателем Госиздата — счел нужным восстановить в памяти и записать слышанный им рассказ. Хотел ли он его вставить в начинавшееся тогда издание сочинений Ленина или написать о нем статью — не знаю. Стремясь придать записи наибольшую точность, он обратился за помощью к памяти лиц, присутствовавших при рассказе Ленина, т. е. к Гусеву и ко мне. Лучшим способом установить правильность передачи было бы обращение к самому Ленину. Воровский это и сделал, но получил сердитый ответ: «Теперь совсем не время заниматься пустяками». Ленин тогда очень сердился на Воровского — за скверное выполнение Госиздатом партийных поручений. (Ленин пришел в ярость за небрежное издание Госиздатом брошюры о конгрессе Коминтерна⁶⁰. Объявляя за это выговор Воровскому, Ленин в октябре 1919 г. ему писал:

«Брошюра издана отвратительно. Это какая-то пачкотня. Какой-то идиот или неряха, очевидно безграмотный, собрал, точ-

но в пьяном виде, все “материалы”, статейки, речи и напечатал». Ленин приказывал виновных «засадить в тюрьму» и заставить их клеивать исправления во все экземпляры. Никто не был посажен в тюрьму, но переполох был большой...).

Гусев, находившийся на фронте гражданской войны, оказал Воровскому минимальную помощь. Тетрадку, — а в ней для замечаний и добавлений к записи Воровский оставил широкие поля, — он возвратил почти без пометок, ссылаясь, что многое не помнит. В отличие от него, я внес в запись кое-какие добавления и некоторые выражения Ленина, крепко сохранившиеся в памяти. Впрочем, мои добавления были очень невелики. Запись Воровского была сделана так хорошо, с такой полнотой, что в них не нуждалась. После этого я больше Воровского не видел. Вскоре он был назначен на пост посла в Италию, а в 1923 году убит в Лозанне.

Запись Воровского, восстанавливая рассказ Ленина, бросает новый свет на историю его духовного и политического формирования. Должен сознаться, что я понял это с громадным опозданием. Нужно было предполагать, что в СССР, где собираются даже самые ничтожные клочки бумажек, имеющие отношение к Ленину, запись Воровского будет напечатана. Однако сколь ни искал я её в доступной мне советской литературе — нигде не нашел. О ней нет ни малейшего упоминания. Чем и как это объяснить? Запись Воровского со слов самого Ленина устанавливает, что он стал революционером еще до знакомства с марксизмом, в сторону революции его «перепахал» Чернышевский и потому, не поддаваясь упорно поддерживаемому заблуждению, нельзя утверждать, будто только один Маркс, марксизм «вылепил» Ленина. Под влиянием произведений Чернышевского Ленин, к моменту встречи с марксизмом, оказался уже крепко вооруженным некоторыми революционными идеями, составившими специфические черты его политической физиономии именно как Ленина. Всё это крайне важно и находится в резком противоречии с партийными канонами и казенными биографиями Ленина. Весьма возможно, что именно по этой причине — запись Воровского и не опубликована. Если же это предположение не верно, нужно сделать другое заключение: в бумагах Воровского или в той части их, которая попала в партийный архив, она не найдена и ее следует считать погибшей. В таком случае приобретают важность и те извлечения,

что я сделал из нее, когда на несколько дней она была в моих руках. Крайне жалею, что в то время, не придавая ей должного значения, поленился полностью списать ее. Вот что рассказал Ленин.

«Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после моей высылки в деревню из Казани (Ленин был выслан в Кокушкино, 40 верст от Казани, имение его матери и тетки. «Ссылка» продолжалась от начала декабря 1887 года по ноябрь 1888 года. «Что делать?» он прочитал в Кокушкине летом 1887 г. — *Примеч. Н. В.-В.*).

Это было чтение запоем с раннего утра до позднего часа. Я читал университетские курсы, предполагая, что мне скоро разрешат вернуться в университет. Читал разную беллетристику, очень увлекался Некрасовым, причем мы с сестрой (Сестра — Анна Ильинична, высланная в мае 1887 г. из Петербурга после казни Александра Ульянова. Некоторое время только она и Ленин жили в Кокушкине. Потом туда переехала вся семья Ульяновых. Ленин со всеми удобствами жил в семейной обстановке. Трудно это называть «ссылкой». — *Примеч. Н. В.-В.*) состязались, кто скорее и больше выучит его стихов.

Но больше всего я читал статьи, в свое время печатавшиеся в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы». В них было помещено самое интересное и лучшее, что печаталось по общественным и политическим вопросам в предыдущие десятилетия. Моим любимейшим автором был Чернышевский. Всё напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строки и не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли, и от него пришло понятие о диалектическом методе, после чего было уже много легче усвоить диалектику Маркса. От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве, литературе, и выяснилась революционная фигура Белинского. Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу политической экономии Милля, и так как Чернышевский хлестал буржуазную экономическую науку, это оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу. С особенным интересом и пользой я читал, замечательные по глубине мысли, обзоры иностранной жизни, писавшиеся Чернышевским. Я читал Чернышевского «с карандашиком» в руках, делая из прочитанного большие выписки и конспекты. Тетрадки, в которые всё это заносилось, у меня потом долго хранились. Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный

полемический талант — меня покорили. Узнав его адрес, я даже написал ему письмо и весьма огорчился, не получив ответа. Для меня была большой печалью пришедшая через год весть о его смерти. (Чернышевский умер в 1889 г. в Саратове. — *Примеч. Н. В.-В.*) Чернышевский, придавленный цензурой, не мог писать свободно. О многих взглядах его нужно было догадываться, но если подолгу, как я это делал, вчитываться в его статьи, приобретается безошибочный ключ к полной расшифровке его политических взглядов, даже выраженных иносказательно, в полунамеках. («Расшифровке» политических взглядов Чернышевского могла помочь и сестра Анна. Она была старше Ленина на 6 лет, вращалась в Петербурге в среде оппозиционно-настроенного студенчества и до 1893 года разделяла народнические воззрения. — *Примеч. Н. В.-В.*)

Существуют музыканты, о которых говорят, что у них абсолютный слух, существуют другие люди, о которых можно сказать, что они обладают абсолютным революционным чутьем. Таким был Маркс, таким же и Чернышевский. По сей день нельзя указать ни одного русского революционера, который с такой основательностью, пронизательностью и силой, как Чернышевский, понимал и судил трусливую, подлую и предательскую природу всякого либерализма.

В бывших у меня в руках журналах возможно находились статьи и о марксизме, например статьи Михайловского и Жуковского. Не могу сейчас твердо сказать — читал ли я их или нет. (В записке Воровского было указано, о каких статьях говорил Ленин. В моих «извлечениях» этого, как и многого другого, нет. Ленин, вероятно, имел в виду статью Ю. Жуковского «К. Маркс и его книга о капитале», помещенную в «Вестнике Европы», в 1877 г. и статью в том же году в «Отечественных записках» Михайловского: «Карл Маркс пред судом Ю. Жуковского». Возможно, что речь шла о другой статье Михайловского в «Отечественных записках» 1872 года — о русском переводе I тома «Капитала». В то время они могли остаться Ленину неизвестными по той причине, что, в отличие от «Современника», «Вестник Европы» и «Отечественные записки» в книжном шкафу в Кокушкине были представлены не полными годовыми комплектами, а лишь разрозненными книгами. Указание на это сделано Воровскому Анной Ильиничной. — *Примеч. Н. В.-В.*)

Одно только несомненно — до знакомства с первым томом «Капитала» Маркса и книгой Плеханова («Наши Разногласия») они не привлекали к себе моего внимания, хотя благодаря статьям Чернышевского я стал интересоваться экономическими вопросами, в особенности тем, как живет русская деревня. На это наталкивали очерки В. В. (Воронцова), Глеба Успенского, Энгельгардта,

Скалдина⁶¹. До знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова главное, подавляющее, влияние имел на меня только Чернышевский и началось оно с «Что делать?». Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления. Пред этой заслугой меркнут все его ошибки, к тому же виноват в них не столько он, сколько неразвитость общественных отношений его времени.

Говоря о влиянии на меня Чернышевского как главном, не могу не упомянуть о влиянии дополнительном, испытанном в то время от Добролюбова⁶², друга и спутника Чернышевского. За чтение его статей в том же «Современнике» я тоже взялся серьезно. Две его статьи, — одна о романе Гончарова «Обломов», другая о романе Тургенева «Накануне», — ударили, как молния. Я конечно, и до этого читал «Накануне», но вещь была прочитана рано и я отнесся к ней по-ребячески. Добролюбов выбил из меня такой подход. Это произведение, как и «Обломов», я вновь перечитал, можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова. Из разбора «Обломова» он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа «Накануне» настоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей день не забывается. Вот как нужно писать! Когда организовывалась «Заря», я всегда говорил Староверу (Потресову) и Засулич:

«Нам нужны литературные обзоры именно такого рода. Куда там! Добролюбова, которого Энгельс называл социалистическим Лессингом, у нас не было».

Когда после этого рассказа Ленина я возвращался с Гусевым в наш отель, он посмеивался надо мною:

— Ильич за непочтительное отношение к Чернышевскому вам глаза хотел выдрать. Старик, видимо, и по сей день не забыл его. Никогда всё-таки не предполагал, что Чернышевский ему в молодости так голову вскружит.

Гусев этого не предполагал, я тем менее. Роман Ленина с Чернышевским мне был совершенно непонятен, возбуждал только недоумение. Мне казался каким-то курьезом, что такая тусклая, нудная, беззубая вещь, как «Что делать?» могла «перепахать» Ленина, дать ему «заряд на всю жизнь». Как небо от земли была

далека от меня мысль, что есть особая, скрытая, но крепкая революционная идеологическая, политическая, психологическая линия, идущая от «Что делать?» Чернышевского к «Что делать?...», Ленина, и речь идет не только о совпадении заголовков.

Я должен был констатировать, что какой-то, и видимо очень важной, стороны мировоззрения Ленина — не понимаю. Мое удивление, что Ленин считает Чернышевского в числе своих главных учителей, увеличивалось еще следующим обстоятельством.

В Уфе в 1899 г. я был знаком со старым народником Ольшевским (или Ольховским, боюсь, что искажаю его фамилию). Сей старичок, живший во дворе того же дома, где и я — и отсюда частые встречи с ним, — был большой любитель «рюмочки» с закуской из соленых грибов. После шестого или седьмого к ней припадания на него накатывал сентиментально политический транс с пролитием слезы. Он вспоминал в такие моменты свое участие в революционных кружках 60-х годов и неизменно говорил о Чернышевском, называя его великим революционером, учителем, вождем, о котором благоговейно люди будут помнить и через «сто лет».

Откликаясь на просьбу дать мне наиболее важные сочинения Чернышевского, Ольшевский из какого-то тайника извлек, кажется, женевское издание «Что делать?», «Очерки политической экономии по Миллю» и еще какие-то статьи. Для него это были сосуды с священными дарами. Вручая их, Ольшевский взял с меня честное слово беречь книги как зеницу ока, немедленно возвратит после прочтения без единого пятнышка, без единой неловко перевернутой страницы. Я с трудом одолел «Что делать?», находя, что еще не читал книги более бездарной, пустословной, варварским языком написанной. Еще с большим трудом прочитал статьи и «Очерки политической экономии». После первого тома «Капитала» Маркса, с которым мы, молодые социал-демократы, тогда не разлучались, написанного блестящим языком, полного всякими яркими социальными формулами и перспективами, Чернышевский мне представился в образе какого-то Тредьяковского⁶³, подвизающегося в политической экономии. Возмущение Ольшевского моим кощунством не знало пределов. Обругав меня «ничего не понимающим фаршированным марксизмом поросенком», он недели три после этого со мною не разговаривал. Гнев Ольшевского я мог себе объяснить: он

был народник и вполне понятно не терпел какого-либо умаления Чернышевского, пророка народнического мировоззрения. Но разве не странно, что через пять лет почти аналогичное происшествие: но на этот раз уже не народник, а ортодоксальный марксист Ленин свирепо накидывается на меня в защиту Чернышевского и объявляет недопустимым говорить о нем недостаточно почтительными словами. «Он меня всего глубоко перепахал». Большая новость для тех, кто, как я до сих пор думал, что это Маркс перепахал Ленина!

В конце 1904 г., уже уйдя из большевистской группы и встречаясь с В. И. Засулич, я однажды высказал ей мое недоумение, что люди ее поколения видели в лице Чернышевского великого учителя революции.

— А вы его знаете? — ответила Засулич.

— Почему же не знаю, читал его, как всё, и того, что вы и, например, Ленин — в нем находите, не нашел...

— Не знаете, не знаете, не знаете, — упрямо твердила Засулич. — И вам трудно это знать. Чернышевский, стесненный цензурой, писал намеками, иероглифами. Мы умели и имели возможность их разбирать, а вы, молодые люди девятисотых годов, такого искусства лишены. Читаете у Чернышевского какой-нибудь пассаж, и вам он кажется немым, пустым листом, а за ним в действительности большая революционная мысль. Вставляя в свои статьи загадочные иероглифы, Чернышевский всегда объяснял своим друзьям и главным сотрудникам «Современника», что он имел в виду, и эти объяснения оттуда долетали до революционной среды, в ней схватывались и переходили из уст в уста. Поэтому, даже когда Чернышевский уже был в Сибири и свои статьи не мог объяснять, долгое время существовал, был в обращении, можно сказать, некий шифр для ясного понимания того, что, по принуждению, он выражал прикрито и очень темно. Такого шифра у вас ныне нет, а если нет, Чернышевского вы не знаете, а раз не знаете, то и не понимаете, что он совсем не таков, каким по своему неведению, хотя оно простительно, вы себе его представляете.

Засулич дала затем несколько примеров, как нужно понимать некоторые фразы и заявления Чернышевского, без обладания «шифром» на самом деле непонятные. К большому моему сожалению, эти примеры я забыл, запомнился лишь один. В одной из своих статей, говоря об устройстве в России земельных

коммунистических ассоциаций, Чернышевский намекает, что для этой цели очень пригодятся разбросанные по всей стране множество «старинных зданий». Чтобы цензуре было трудно догадаться, о каких старинных зданиях идет речь, Чернышевский сопровождает свои указания нарочито туманными и сбивчивыми дополнениями.

— Вы читаете теперь, — говорила Засулич, — это место, и оно вам непонятно. Пожалуй, даже глупостью, болтовней назовете. А нам в 60 и 70 годах, потому что до нас объяснения долетали, и мы кое-что слышали, — всё было понятно. «Старинные здания» — это главным образом монастыри, отчасти церкви, их надо уничтожить, а здания их утилизировать для организации в них фаланстер. Такова была мысль Чернышевского.

Объяснения Засулич я слушал с интересом, но глубоко они не западали. Восемнадцатилетний Ленин, не имея того «шифра», о котором говорит Засулич, всё же превосходно понял Чернышевского, вероятно, потому, что обладал особым чутьем распознавать и тянуться к революционному «динамиту». Чернышевского я плохо знал, не понял, а вместе с этим непониманием обнаружилось, что не могу понять, — как я уже сказал, что-то крайне важное, глубоко заложенное в строй воззрений и чувств Ленина. Однако не хочу оставить впечатления, что с этим непониманием, подобно многим другим, я остался и по сей день. Когда я стал тоже «с карандашиком в руках» штудировать сочинения Чернышевского и собирать всё, что нужно для знания его и его времени — мне представился, думаю, с достаточной ясностью весь процесс — как, чем, в какую сторону Чернышевский «перепахал» Ленина? Распространяться об этом здесь излишне, но по мотивам, а они будут ясны из дальнейшего, одну частицу из того, что я собрал по этому вопросу (сошлюсь на мои, далеко не исчерпывающие вопрос, статьи «Чернышевский и Ленин», в редактируемом М. М. Карповичем⁶⁴ «Новом журнале» в книгах 26 и 27 за 1951 г.) — мне кажется — стоит извлечь и привести.

Чернышевский был, конечно, самым крайним революционером. Уже в двадцать лет (см. его дневник) он был решительным «монтаньяром», «партизаном социалистов и коммунистов», сторонником «диктатуры», чувствовал «неодолимое ожидание близкой революции и жажду ее», мечтал о «тайном печатном станке» и «писании» воззваний к восстанию. Таким он был

и в течение десятилетий позднее. Арестованный в июле 1862 г., просидев в Петропавловской крепости два года (там он написал свое «Что делать?»), он был судим и отправлен в Сибирь. При разборе его дела в следственную комиссию и судивший его Сенат поступили две записки с характеристикой литературной деятельности Чернышевского, составленные по заказу III отделения (охранка). В одной из них, написанной поэтом и переводчиком В. Д. Комаровым, предавшим Чернышевского, весьма подробно доказывается, что издающиеся подпольные прокламации в громадной степени инспирируются идеями, развиваемыми Чернышевским в его статьях в легальном журнале «Современник».

«В подметных прокламациях высказываются те же самые политико-экономические учения, которые развивал Чернышевский, с тою лишь разницей, что в прокламациях они не прикрыты ученой диалектикой. Насильственные средства к осуществлению новых порядков указываются в прокламациях с беззастенчивой откровенностью такие же, на какие Чернышевский, стесненный условиями цензуры, мог в своих литературных произведениях только намекать более или менее ясно. Словом, прокламации суть как бы вывод из статей Чернышевского, а статьи его подробный к ним комментарий».

Опровергать это безнадежно и невозможно, это сущая правда, и одним из образцов (весьма ярким) такого перевода статей и идей Чернышевского на язык подпольных произведений — несомненно, была прокламация под заглавием «Молодая Россия», появившаяся в Москве в мае 1862 г. В ней выражена вся социально-политическая программа Чернышевского, правда с противоречиями и большими «излишествами». В ней, например, требуется «уничтожение брака как явления в высшей степени безнравственного» и «семьи» как института, препятствующего «развитию человека». Недовольный такими «перегибами», Чернышевский послал в Москву виднейшего члена «Земли и воли» Слепцова уговорить составителей прокламации как-нибудь сгладить созданное ею неблагоприятное впечатление. Составители прокламации потом объяснили, что их излишества появились от желания, «чтобы всем либеральным и реакционным чертям стало тошно». Прокламация была выпущена от имени «Центрального Революционного Комитета» (весь состав этого

комитета из студентов сидел в это время под арестом в московском полицейском участке), а написал ее студент П. Г. Зайчневский⁶⁵, горячий сторонник Чернышевского. В прокламации он прямо опирается на него, т. е. на письмо, которое, за подписью «Русский Человек», Чернышевский поместил в № от 1 марта 1860 г. в лондонском «Колоколе» Герцена.

«Наше положение, — писал Герцену “Русский Человек” — невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет. Перемените тон, и пусть ваш “Колокол” благовестит не к молебну, а звонит набат. К топору зовите Русь!».

Прокламация Зайчневского, следуя этому призыву, именно к топору и зовет. Это одна из самых кровавых российских прокламаций.

«Мы будем последовательнее великих террористов 1792 г. Мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 1790-х годах... С полной верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: к топору! И тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что кто тогда будет не с нами, тот будет против; кто против — наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами. Да здравствует социальная и демократическая республика русская!».

Почитатель Чернышевского, французских якобинцев и Бланки⁶⁶ (всё это весьма увязывается) Зайчневский позднее стал главарем партии «русских якобинцев-бланкистов». Другая разновидность этого течения была представлена П. Н. Ткачевым⁶⁷ и его «Набатом». У Зайчневского — никогда не было недостатка в сторонниках и среди них было много женщин, например Ошанина, ставшая виднейшим членом Исполнительного Комитета «Народной воли», Е. Оловенникова, принимавшая участие в покушении 1 марта, М. И. Ясенева (потом замужем за Голубевым) и другие. Ясенева — вернейшая политическая спутница Зайчневского с 1882 г. по день его смерти — человек с характером, но фигура неяркая.

Вспомнить же о ней важно по следующей причине. Когда Зайчневский был сослан в Сибирь, Ясенева, привлеченную по его делу, после тюремного заключения, отправили в 1891 г. под гласный надзор полиции в Самару, где она познакомилась с Лениным и часто бывала в семье Ульяновых. В большевистской литературе есть указание, что в Самаре Ленин будто бы «оказал сильное влияние на формирование ее мировоззрения и политических взглядов». Это неверно. При встрече с Лениным Ясенева, старше его на 9 лет (родилась в 1861 г.), имела уже и революционное прошлое, и сложившееся под влиянием Чернышевского и Зайчневского мировоззрение. «Зайчневский, — говорила она Мицкевичу (см. его статью в “Пролетарской Революции”), — заставлял нас изучать “Примечания к Миллю” Чернышевского». Ленину же, тоже «перепаканному» Чернышевским и лишь недавно ставшему марксистом, было 21 год. Не он открывал Ясеновой новые перспективы, а следует думать, в гораздо большей степени, она ему. Ленин в это время особенно интересовался историей русского революционного движения, ища личного знакомства с его участниками. Очень заинтересовался он и партией «якобинцев-бланкистов» Зайчневского, и о программе и истории ее, начиная с появления «Молодой России», ему и рассказывала Ясенева. Об этом можно кое-что найти в ее статье «Последний Караул», напечатанной в сборниках «О Ленине», книге II. Говорю лишь кое-что, так как Ясенева, плохо владея пером, не смогла связно и подробно рассказать о том, что для истории политического развития Ленина, несомненно, представляло большой интерес.

«В разговорах со мною, — писала она, — Владимир Ильич часто останавливался на вопросе о захвате власти — одном из пунктов нашей якобинской программы. Он не оспаривал ни возможности, ни желательности захвата власти, только никак не мог понять, на какой такой “народ” мы думаем опереться. Я теперь еще больше, чем раньше, прихожу к заключению, что у него уже тогда являлась мысль о диктатуре пролетариата».

Можно найти ряд подтверждений, что мысль о захвате власти и диктатуре тогда действительно бродила, формировалась в голове Ленина, несмотря на то, что этому шла наперекор критика идеи захвата власти в работе Плеханова «Наши разногласия», с усвоения которой в 1889 г. Ленин начал свое марксистское воспитание. Разговоры с Ясеновой о «Молодой России», Зайчневском, партии

якобинцев-бланкистов — несомненно, осели в памяти Ленина. На это указывает следующий факт. Осенью 1904 г., после двенадцати лет полного забвения Ясеновой, отсутствия между ними какой-либо переписки, Ленин вдруг вспоминает о ней, пишет ей из Женевы в Саратов письмо, «чрезвычайно радуется», узнав, что она «жива» и «очень хотел возобновить дружбу» с нею.

Что случилось, что толкнуло его вспомнить о ней? На это легко ответить: написав «Шаг вперед — два назад», Ленин в это время пришел к твердому убеждению, что ортодоксальный марксист-социал-демократ непременно должен быть якобинцем, что якобинство требует диктатуры, что «без якобинской чистки нельзя произвести революцию» и «без якобинского насилия диктатура пролетариата выхолащенное от всякого содержания слово». Но ведь это всё близко к тому, что, следуя призыву Чернышевского, к топору приглашала «Молодая Россия», весьма близко к тому, что развивала программа «якобинцев-бланкистов», излагавшаяся Ясеновой. Как тут ее не вспомнить! Тем более что Ленин узнал, что Ясенева примкнула к большевистскому течению и «занимает солидарную с нами позицию» (письмо к Ясеновой опубликовано в полном собрании сочинений Ленина). Эту, почти никому неизвестную, историю с «Молодой Россией», партией «якобинцев-бланкистов» и разговорами Ленина с Ясеновой — мне казалось уместным привести. Она бросает особый свет на ряд заявлений Ленина, о которых буду говорить в главе о том, как он писал «Шаг вперед — два шага назад».

Несколько строк в добавление. Зайчневский — глава «русских якобинцев-бланкистов», умер в 1896 г., на смертном одре, в бреду споря с Лавровым и доказывая, что «недалеко время, когда человечество шагнет в царство социализма». С его смертью, писал в 1925 г. Мицкевич, один из виднейших последователей Зайчневского, — «русское якобинство умерло, чтобы воскреснуть в новом виде в русском марксизме — революционном крыле русской социал-демократии — в большевизме».

Не только Ясенева, но «все из участников кружка Зайчневского» — тот же Мицкевич, А. Романова, Л. Романова, Арцыбашев, Орлов и другие — потом прислонились к Ленину, стали большевиками. «Очевидно, якобинство предрасполагало к большевизму», очевидно и другое — большевизм предрасполагал к якобинству. Вспоминая отправной политической документ

русского якобинства прокламацию «Молодой России», но упуская из виду, что она навеяна «топором» Чернышевского, Мицкевич указывал, что это «замечательное» произведение содержит много лозунгов, претворенных октябрьской революцией.

«Тут и предсказания, что России первой выпадет на долю осуществить великое дело социализма, тут и предсказания, что все партии оппозиционные объединятся против социальной революции, тут и требование организации общественных фабрик, общественной торговли, национализации земли, конфискации церковных богатств, признание необходимости для свершения революции строго централизованной партии, которая после переворота в “наивозможно скором времени” заложит основы нового экономического и общественного быта при помощи диктатуры, регулирующей выборы в национальном собрании так, чтобы в состав его не вошли сторонники старого порядка. Все это идеи октябрьской революции, не хватает только одного пролетариата».

Мицкевич совершенно прав: октябрьская революция 1917 г. провела в жизни много лозунгов «Молодой России» 1862 г.; в течение десяти слишком лет практически осуществлялись даже такие лозунги, как уничтожение брака и семьи. И вот что достойно внимания. В архивах Слепцова было найдено письмо, написанное в 1889 г. Зайчневским какому-то неизвестному Андрею Михайловичу. На вопрос последнего — что знали и читали составители «Молодой России», Зайчневский ответил: «Марксятину мы тогда еще не читали».

Замечание весьма интересное. Из него явствует, что руководимая Лениным октябрьская революция могла быть «сделанной» без всякой «марксятины», а только исходя из поучений перепахавшего Ленина Чернышевского...

Два признания

Это было в марте. Я случайно встретил Ленина на rue de Carouge и пошел его проводить до дому. Сделав несколько шагов, мы увидели идущую к нам навстречу В. И. Засулич. Не желая с нею столкнуться нос с носом, Ленин взял меня за руку и быстро свернул в сторону. Он знал, что со времен съезда партии Засулич его ненавидит и отвечал на это холодным презрением. Всё, что она говорила, Ленин считал не заслуживающим никакого внимания.

Засулич, по его мнению, уже давно потеряла способность понимать и разбираться в окружающем. Хотя она была ярая меньшевичка, а я — в моем представлении — твердокаменный большевик, все же мне казалось, что Ленин слишком пристрастно, несправедливо судит о Засулич. Неожиданная встреча толкнула меня начать о ней разговор.

— Вы, Владимир Ильич, очень мало цените Засулич, а всё-таки эта старушка — молодчина, например, ясно и основательно она проанализировала смысл событий на юге России и мягко, но твердо одернула моего товарища Пономарева и меня за некоторые увлечения и иллюзии.

— О какой статье Засулич вы говорите?

— «О чем нам говорят июльские дни в Киеве». (Статья под таким названием была сначала напечатана в № «Искры» от 25 ноября 1903 г., а потом приложена в качестве предисловия к брошюре Правдина «Революционные дни в Киеве», отредактированной Лениным и Крупской. Это обстоятельство, вероятно, и привлекло внимание Ленина к тому, что я говорю о Засулич. — *Примеч. Н. В.-В.*)

— В чем же вы видите «молодечество» Засулич? Что вас так в ней восхитило? Насколько помню, никаких особых достоинств и ценных мыслей в статье не было.

Отвечая на это Ленину, я счел нужным рассказать, какого рода письмо, посланное из Киева к Засулич, побудило ее написать вышеупомянутую статью.

В начале девятисотых годов Киев не был значительным индустриальным городом. Рабочее движение в нем было очень слабым. Местный комитет партии не мог похвалиться большим влиянием на рабочую массу. По всем видимым признакам она спала. И вдруг 21 июля 1903 г. прокламации комитета сыграли здесь некоторую роль, начинается забастовка в железнодорожных мастерских, по численности рабочих важнейшем предприятии Киева. В тот же день или на следующий, хорошо не помню, бастуют машиностроительный завод и несколько мелких заведений. Число бастующих превышает 4500 человек. Явление в Киеве невиданное, неслыханное.

23 июля — день для меня памятный, я впервые говорил пред двумя с лишком тысячами железнодорожных рабочих, — начинаются стычки между рабочими, войсками и казаками. Рабочие препятствуют выходу паровозов из депо, отправке

поездов. Солдатам приказано стрелять в толпу, а казакам разгонять ее нагайками. В этот день есть убитые — восемь человек. Слух о стрельбе бежит по городу, говорят уже о десятках убитых. Среди рабочих растет возбуждение, негодование. В нижней части Киева, на Подоле, рабочие бьют стекла на мельнице миллионера Бродского. Войско опять стреляет, снова два убитых, пораженных шальными пулями. Лозунг «долой убийц» — летит уже по всему рабочему Киеву. Забастовка превращается во всеобщую. Бастуют трамваи, типографии, парходные мастерские, казенный склад, завод Гретера, дрожжевой завод, булочные, колбасные, кирпичные заводы, строительные рабочие. Вся жизнь как будто останавливается. Полиция, видя размеры движения, понимает, что она не может его остановить, и отходит в сторону. Уличные митинги с пламенными речами происходят беспрепятственно на ее глазах. Охрана города передается войску и казакам.

Комитет партии чувствует, что бастующие ждут указания, что им делать. Им нужно бросить какой-то лозунг. В Комитете дебатировать, отвергают предложение о панихиде по убитым, долго спорят, ищут «лозунга» и с промедлением решают пригласить всех «честных людей» собраться на Софийской площади в час дня в воскресенье 27 июля — провозгласить «вечную память» убитым и заклеить убийц-слуг царского правительства. Демонстрация по замыслу Комитета должна иметь мирный характер и длиться не более полчаса.

На эту демонстрацию, кроме нескольких десятков лиц, главным образом членов организации, никто не пришел. Обширная Софийская площадь была пустынее, чем обычно и в час дня, именно когда должна была начаться демонстрация, по всем линиям города побежали трамвайные вагоны, невидимые в предыдущие дни. Без всякого лозунга, без всякого приглашения рабочие приступили к работе. Забастовка окончилась столь же внезапно, таинственно, непонятно, как из солидарности с железнодорожными рабочими — она вспыхнула и превратилась во всеобщую.

На члена Комитета Н. Ф. Пономарева и на меня, которого Правдин в своей брошюре называет «сторонником решительных мер», — события июльских дней произвели огромное впечатление. От того ли, что впервые пришлось говорить перед двумя

тысячами железнодорожных рабочих, потом на многолюдной сходке за Днепром типографских рабочих, на Галицком базаре, в разных других местах, т. е. находиться всё время среди крайне возбужденной толпы, ею возбуждаться, ее возбуждать — я потерял всякое равновесие, потерял голову. Бешеное желание мести охватывало меня при мысли об убитых. После окончания забастовки мы с Пономаревым решили, как мы говорили, «всё додумать до конца», понять, что же произошло. Пономареву, как и мне, ему в меньшей степени, казалось, что мы были свидетелями каких-то экстраординарных событий, нигде и никогда в таком виде не происходивших в мире.

Забастовка нам показала, что рабочий класс — Сфинкс.

Его мы не знаем. Какие до сих пор были у нас пути и средства, чтобы добраться до мыслей и чувств этого Сфинкса? Наш организованный «контакт» с рабочим классом, несмотря на всю энергию его упрочить, — был слаб. И показания, даваемые этим контактом, приводили к заключению, что рабочая масса находится в глубокой спячке, среди нее нет никаких признаков стойкого революционного чувства. Всеобщая стачка грянула как гром среди белого дня. Она свидетельствовала, что у нас нет, в сущности, никакого знания о действительном состоянии и психологии рабочих. Во время стачки проявилась, с одной стороны, неожиданная, необычайной силы, солидарность всех рабочих профессий, а с другой стороны, совершенно не предполагаемое революционное чувство и готовность рабочих не останавливаться перед самыми крайними средствами борьбы и отпора властям.

Судя по поведению Киевского Сфинкса, о психологии которого мы «ни черта не знали» (лишь гадали на основании книжных формул), легко можно допустить, тому доказательство стачка в Ростове, — что Сфинкс может себя проявить и в других городах и местах. Следовательно, революция, о которой принято говорить как о чем-то отдаленном, может прийти неожиданно, гораздо скорее, чем мы думали (*через два года она и пришла!*). А сойдясь на этом, мы стали обсуждать, во-первых, что во время июльских дней мы должны были бы делать и не делали, и, во-вторых, что должна делать партия, когда уже во многих городах вспыхнет такая же неожиданная и останавливающая всю жизнь забастовка как в Киеве? Мы порешили, что, в предчувствии подобных событий, партия должна иметь тщательно разработанный план

действий и требований. Доклад на эту тему я набросал и передал Пономареву, он должен был внести в него свои поправки и дополнения. За подписью нас обоих мы хотели послать его в «Искру», но вскоре после этого я был арестован и за составление доклада в окончательном виде взялся один Пономарев. Н. Ф. Пономарев — большая умница и талантливый человек (как многие русские люди он погиб от пьянства и от в пьяном виде полученной и запущенной болезни), анализируя мой доклад, конечно, заметил его «хилиастический», импрессионистский характер и разные революционные «излишества». Недели чрез две после июльских событий революционный хмель, круживший нам голову, с него слетел, и он смотрел на вещи гораздо более трезво. Мой доклад он переделал, придал ему «трезвый» вид и послал его В. И. Засулич.

Он, однако, оставил нетронутой мысль, что ничего подобного Киевским событиям в Европе никогда не происходило и что в ожидании будущих подобных событий нужно иметь общероссийский «план действий». «Не настала ли пора подумать, как именно должно произойти падение царизма и что станет непосредственно на его месте? Не пора ли начать определять способы и пути революции. Решительная минута не так уж далека, и встретить ее неподготовленными, без определенного плана, было бы величайшей ошибкой. Если бы удалось в каком-нибудь центре временно овладеть властью, победа, вследствие отсутствия определенного общерусского плана, обратилась бы в поражение. А о победе можно не только мечтать, но и думать».

Статью Засулич, отвечающую на письмо Пономарева, я прочитал, только попав в Женеву. Все ее суждения мне показались очень правильными. Гипнотизирующее влияние киевских событий от меня тоже отлетело, и критика Засулич, направлявшаяся против «плана», дирижирующего ход революции, и утверждения, что стачек, подобных киевским, нигде в Европе не происходило, мне представлялись вполне основательными.

Рассказывая обо всем этом Ленину, в ответ на его вопрос, что меня «восхитило» в статье Засулич, я сказал:

— Хорошо, что в руки Засулич попало письмо Пономарева, а не мой доклад. Вот вlepила бы она мне за разные глупости, а глупости были неизбежны потому, что голова кружилась.

Ленину, которому, насколько можно было заметить, мало доставляло удовольствия слышать похвалы Засулич, спросил:

— А за какие такие глупости вы могли ожидать от нее порицание?

— О, их было много. Например, предложение строить баррикады.

— С каких это пор на языке революционера баррикады называются глупостями? Не с того ли момента, когда всякий революционный акт, не входящий в горизонт «Новой искры», начали считать опасным «бланкизмом», «якобинизмом»?

— Вы неправы, Владимир Ильич, баррикады в июле в Киев были бы даже больше, чем глупостью. Было бы убитых не десять человек, а 200 или 300, что от этого выиграл бы рабочий класс?

— Не будем пока это обсуждать, лучше скажите — какие это другие глупости, которые вы предлагали делать?

— Если не глупостью, то некоторой пинкертоновщиной было предложение, надев маски, овладеть ночью какой-нибудь типографией и там заставить наборщиков набрать и отпечатать большие революционные афиши. Мало продуманной авантюрой было и предложение ворваться в квартиру губернатора Штакельберга, считавшегося главным виновником стрельбы в железнодорожных рабочих, увести его куда-нибудь за город и там не убить и не повесить, а беспощадно высечь розгами.

Ленин меня прервал и сказал, что ему совсем не нравится «усмешечка», с которой я якобы рассказываю о киевских событиях. «Засулич вас слегка покритиковала, и вы уже не знаете, как ей угодить, попасть в ее линию, не замечая, что линия-то кривая». Для исчерпывающей характеристики Ленина, его политической линии, то, что потом он говорил, мне теперь кажется крайне важным. К сожалению, я не в состоянии это передать с достаточной полнотой и точностью, какую бы требовал данный случай. Из памяти, например, вылетела его мотивировка, что «линия» Засулич в оценке июльских дней в Киеве была «кривой». Его дальнейшие рассуждения, окончившиеся заявлением, что он — *Ленин* — *доживет до социалистической революции в России*, — показались мне до такой степени неожиданными, столь двусмысленными, столь противоречивыми господствовавшей марксистской доктрине, отвергавшей мысль о близости социалистической революции, что я колебался, как относиться к словам Ленина, не шутка ли это? Вероятно, такое состояние неуверенности и привело к тому, что слышанные слова не запечатлелись с четкостью, как при других

разговорах с Лениным, и я не могу передать ни оттенков мысли Ленина, ни ее развития, а лишь грубые куски, вырванные из этого разговора. Возражая Ленину по поводу «усмешечки», я сказал:

— Вопрос не в «усмешечке», а в освобождении от иллюзий, в требовании трезвой оценки того, что произошло. Захваченные совершенно непредвиденными событиями, считая обнаружившуюся в них огромную солидарность всех даже самых отсталых рабочих явлением экстраординарным, мы подверглись такому идейному шатанию, что готовы были думать, что узрим социалистическое небо.

— О социалистическом небе (выражение мне не нравится), надеюсь, вы говорите без усмешечки и не считаете глупостью? Вас тогда нужно бы из партии гнать!

— Не искажайте мои слова! Не социализм глупость, а глупость в июле 1903 г. видеть социализм, появляющимся из-за спины десяти или двенадцати тысяч забастовавших киевских рабочих, в конце концов, горстки рабочих.

— Горстки? А сколько вам нужно миллионов, чтобы сказать — вот идет социализм? Нужно ли для этого 8888 888 и ни одним рабочим меньше?

И Ленин начал объяснять, что с точки зрения теории для установления социализма нужны объективные экономические условия и условия субъективные — организованность рабочего класса, его революционность, готовность рабочих бороться, иначе говоря, «социалистическое движение». Но, особенно подчеркнул он, вот что не нужно забывать. Английский капитализм вполне создал объективные материальные предпосылки для социалистического строя, а между тем социалистического революционного движения в Англии совсем нет. Трэдюнионизм не есть социализм. В этом отношении наши киевские и ростовские рабочие, проявившие всех поразившую солидарность и желание прибегнуть даже к *самым крайним средствам борьбы, куда более социалистичны*, чем английские. То же самое можно сказать и об Америке. Социалистическая революционность в ней нуль, а объективные предпосылки для социализма более обширны, чем в Англии. Упускать субъективный фактор, характер, революционность рабочего движения страны и оперировать только объективным, экономическим фактором значило бы *опошлять* марксизм. Нужно «диалектически» относиться и к самому вопросу об объ-

ективных условиях социализма. Нет никакого абсолютного и формального измерения экономической подготовленности страны к социализму. Нельзя сказать, — данная страна готова к социализму, раз в ней, например, «60% принадлежат к рабочему классу». «Истина всегда конкретна, всё зависит от обстоятельств времени и места». В стране среди десятков тысяч разных предприятий может быть только 50 очень больших фабрик и заводов. С формальной точки зрения никаких социалистических перспектив у этой страны в данный момент нет. Число больших предприятий смехотворно мало, и число их рабочих в общей рабочей массе страны ничтожно, но если эти 50 предприятий сосредоточивают у себя важнейшее производство страны — уголь, чугун, сталь, нефть и т. д. и все их рабочие превосходно организованы в революционную социалистическую партию, являются передовым, самым сознательным авангардом рабочего класса, отличаются высокой степенью *боевой энергии* — вопрос о социалистических перспективах в этой стране и о значении «горсти» рабочих принимает совсем не тот вид, который придают вопросу люди, «опошляющие марксизм». Таким пошляком был П. Струве⁶⁸, — сказал Ленин. В бытность его легальным марксистом, в частной беседе, ссылаясь на все законы об условиях победы социализма, Струве доказывал, что в России раньше, чем чрез 100 лет, нельзя и думать о введении социализма.

В рассуждениях Ленина было для меня что-то настолько странное, двусмысленное, противоречащее общепринятым партийным понятиям, что я воскликнул:

— Сознаюсь, не понимаю, куда клонят ваши слова! Неужели вы в самом деле думаете, что в России в близком времени может быть социалистическая революция? Но ведь по всем правилам марксизма, и не Струве, а Энгельса и Плеханова, можно доказать, что в России нет и долгое, долгое время не будет никаких возможностей такой революции. Социалистическую революцию ни вы, ни я во всяком случае не увидим.

— А вот я, позвольте вам заявить, *глубочайше убежден, что доживу до социалистической революции в России.*

Мы подошли в это время к дому, где жил Ленин, и он ушел к себе. Разговор был окончен и на эту тему больше не возобновлялся. Заключительные слова Ленина, быть может, были только шуткой? Нет, они были вполне серьезны. Заявление, подобные

тому, что я от него услышал, Ленин два года до этого делал и другим лицам. В журнале «Пролетарская революция» (1924 г. № 3) Н. И. Алексеев рассказывает, что в 1902 г. в Лондоне, беседуя с Лениным, он насмешливо отозвался об одной английской газете («Джастис»), делавшей предположение о возможности в близком времени в России социалистической революции. Алексеев, как вся партия, считал такую мысль, конечно, абсурдной и ее высмеивал. Замечаниями Алексеева Ленин был очень недоволен. «А я надеюсь дожить до социалистической революции, — заявил он решительно, прибавив несколько нелестных эпитетов по адресу скептиков».

Глубочайшая вера Ленина «дожить до социалистической» революции меня сейчас никак, нисколько не удивляет. Это аксессуар его двойственной души. С тех пор как его «перепахал» Чернышевский (1887–1888 гг.), он в своем подсознании, в глубинах души, носил социалистический хилиазм, присутствие скрытых или более явных элементов которого можно проследить, анализируя его произведения, начиная с самых ранних, написанных в 1893–1894 гг. В Сибири, в ссылке, этот хилиазм как будто исчез, в этот период Ленин в своих политических и экономических взглядах обнаружил поразительную умеренность и трезвость, но в следующем периоде, начиная с «Что делать?», хилиазм опять выплыл наружу. Ровно через год после того, что я слышал от Ленина, он в газете «Вперед» (№ 30 март 1905 г.) писал, что социал-демократия «осрамила бы себя», пытаясь «поставить своей целью социалистический переворот». Но одновременно проповедуя необходимость «диктатуры пролетариата и крестьянства», — он замаскированным путем, фактически бессознательно, толкался к тому самому социалистическому перевороту, который как будто бы отвергал. (Сталин в его «Кратком курсе истории компартии» (издание 1950 г., стр. 70) пишет, что в 1906–7 гг. «диктатура пролетариата и крестьянства нужна была Ленину не для того, чтобы, завершив победу революции над царизмом, закончить на этом революцию, а для того, чтобы *начать прямой переход к социалистической революции*». Вот редкий случай, когда мы соглашаемся со Сталиным. «Это была, — утверждает он, — новая установка по вопросу о соотношении между буржуазной и социалистической революциями». Здесь уже ошибка: особенного нового в такой «установке» нет. С конца 50-х годов 19 столетия в революционной среде (вспомним хотя бы

Чернышевского) глубоко сидит мысль о прямом переходе, минуя буржуазный строй, к социализму.)

Вера в духе Чернышевского и левых народовольцев, якобинцев-бланкистов в социалистическую революцию и неискоренимая, недоказуемая, глубокая, чисто религиозного характера (при воинственном атеизме) уверенность, что он доживет до нее — вот что отличало (и выделяло) Ленина от *всех* прочих (большевиков и меньшевиков) российских марксистов. В этом была его *оригинальность*. И, вероятно, здесь нужно искать одно из объяснений его загадочного, непонятного, гипнотического влияния, о котором писал Потресов.

Если при более глубоком знании Ленина мне ни в коем случае не следовало бы так удивляться услышанному от него убеждению, что он доживет до социалистической революции, было другое его признание, не вызвавшее во мне ни удивления, ни чувства неожиданности, встреченное как нечто естественное и понятное. А между тем оно должно вызывать недоумение, слишком уже оно несвойственно Ленину. К этому другому признанию я сейчас и перейду, но могу это сделать не прямо, а проходя только через мостик некоторых моих сентиментов и переживаний, без привлечения которых обстановка признания Ленина станет непонятной.

В России до 1905 г. сочинения Герцена были запрещены. С цензурными выемками первое издание некоторых его произведений появилось лишь в 1907 г. Из всего литературного наследия Герцена я знал лишь его самые ранние статьи, случайно попавшиеся мне в руки в Уфе в старых журналах. Позднее удалось прочитать «С того берега», но не в подлиннике, а в немецком переводе. Может быть, потому, что некоторые страницы «*Vom anderen Ufer*» показались нелегкими для чтения, потребовав словаря, это произведение не оставило в мозгу никакой зарубки. В Женеве впервые пришлось прочитать главное произведение Герцена «Былое и думы». То было настоящее открытие, полное огромного интеллектуального и эстетического наслаждения. Я и жена моя были буквально покорены талантливостью «Былого и дум», и так как мы оба провели детство в деревне, точнее сказать, в помещичьих усадьбах, нам, как мне кажется, были более чем другим близки, душевно созвучны, страницы, где Герцен вспоминает свою жизнь в Покровском и Васильевском, подмосковных имениях его отца. (Мог ли я тогда предполагать, что в 1914–15 гг. буду часто бывать в доме Герцена

в Покровском, производить «раскопки» на чердаке покосившегося столетнего амбара, найду акт от 1823 г. ввода Яковлева — отца Герцена, во владение Покровским, равно как некоторые документы, относящиеся к лету 1843 г., когда Герцен там жил.)

В «Былом и думах» в главе о Покровском есть места, настраивавшие меня в Женеве на острые ностальгические чувства. Например: «Перед домом (в Покровском), — писал Герцен, — за небольшим полем тянулся темный строевой лес, чрез него шел просек в Звенигород. По другую сторону тянулась селом и пропадала во ржи пыльная, тонкая тесемка проселочной дороги, выходящей чрез майковскую фабрику на Можайку. Мы жили в деревне до поздней осени. Изредка приезжали гости из Москвы. Все друзья явились к 26 августа, потом опять тишина, тишина и лес, и поля — и никого кроме нас... Дубравный покой и дубравный шум, непрерывное жужжание мух, пчел, шмелей и запах, этот травяно-лесной запах, насыщенный растительными испарениями, листом, а не цветами, которого я так жадно искал и в Италии, и в Англии, и весной, и жарким летом и почти никогда не находил».

Мы с женой жили на отдаленной, серой, окраине Женевы за рекой Арвой. Вероятно, теперь это место застроено, тогда оно было пустынно. Из углового окна нашего жилища было видно кладбище, гора Salève и через деревья — тропинка, ведущая к французской границе. Из двух других окон в глаза назойливо лез большой пустырь с кучками мусора среди репейника, крапивы и чахлой высохшей травы. Наше жильё, с почти отсутствием в нем мебели, было невесело, противный пустырь делал его еще унылее. Пустырь и кладбище особенно били по нервам, когда читал о дубравном шуме Покровского, жужжания его пчел, шмелей, травянолесном запахе. Отталкиваясь от унылого жилища, всяких неприятностей, мысль, подхлестнутая страничкой Герцена, перелетала к другим видениям.

Я переносился в Тамбовскую губернию, в деревню Подъем, где проводил детство и юношеские достуденческие годы. В памяти вставал обвитый плющом и диким виноградом старый дом. Вспоминался вечер в деревне. Из деревенской церкви на косогоре несутся тихие звуки дребезжащего колокола. Старые ветлы на плотине у пруда склонили усталые от дневной жары ветви. Где-то в саду, перелетая с ветки на ветку, поет иволга. Клумбы пред домом переполнены цветами: пестрый и нежный ковер

из гвоздики, резеды, незабудок, лилий, душистого горошка, петуний, маргариток, левкоев, настурций, астр, циний, герани. Вечером цветы политы и как пахнут! На раскаленный в течение дня солнцем золотой песок вокруг клумб попала вода из леек, и от него тоже несется особый тонкий запах, он особенно силен на песчаных берегах рек. Легкий ветерок приносит с пруда запах свежести воды. Смешиваясь с ароматом цветов, запахом песка, он образует какую-то спаянную воздухом троицу. Это не травяно-лесной запах, которого заграницей тщетно и жадно искал Герцен, это другой запах, запах Подъема, родной деревни. В эмиграции (первой — во время царя, во второй — в царствование Сталина) я тоже его всегда искал и редко находил.

Видения прошлого, воспоминания, обостряли у меня появившуюся тоску по родине. Я начинал ненавидеть Женеву, мечтать возможно скорее возвратиться в Россию. Конечно, не в Подъем, имение уже давно было продано отцом, а куда угодно — в Москву, Нижний Новгород, на Волгу, только бы не оставаться в Швейцарии. Но я не мог уехать. Нужно было иметь два фальшивых паспорта. Один, с которым моя жена могла бы переехать границу, а другой для меня, и не только для переезда чрез границу, а достаточно солидный, с которым я мог бы жить, будучи на нелегальном положении. Паспортов не было. За ними эмигранты становились в очередь. Не было и другого для отъезда еще более важного — денег. Были и другие препятствия...

Русская пословица гласит: «У кого что болит, тот о том и говорит». И об этом для меня больном я и стал говорить Ленину. Он находился в это время в состоянии подавленности, изнеможения, полной протрации. Подходя к концу своей книги «Шаг вперед — два шага назад», он стоял пред решением, определявшим всю его последующую политическую жизнь. Он колебался пред выбором пути, мучился и боялся, что обнаружатся его колебания, явно избегал разговоров о партийных делах. «О чем угодно, только, ради Бога, не об Аксельроде и Мартове».

В целях отдыха от дум, проветривания головы, чтобы не думать о том, что его мучило, Ленин в это время охотно слушал рассказы на темы, не имеющие никакого касательства к партийной склоке. Именно этим я объяснил сочувственное внимание к моему повествованию о впечатлении, произведенном «Былым и думами», о вызванных им воспоминаниях, о вечере в Подъеме,

запахе цветов в клумбах, о накотившей на меня тоске по родине, т. е. о таких вещах, о которых в другое время Ленин в боевом настроении вряд ли бы стал слушать.

Но тогда он меня слушал и задумчиво, коротко, спросил: «А много было цветов, какие?».

Отгоняя от себя боязнь, что меня могут высмеять за слишком уже сентиментальные переживания, я пустился в детальные описания и формы клумб, и цветов и аллей. В это время в кафе вошел Ольминский (Ольминский (1863–1933) — бывший народоволец. С 1920 г. редактор журнала «Пролетарская Революция», председатель Совета Истпарта (истории партии).).

Ленин ему назначил свидание по какому-то делу, сужу потому, что Ольминский принес пачку исписанных листков, и, поздоровавшись с нами, стал их перенумеровывать. Ольминский меня не любил. Ему передали, — а сплетничать в Женеве очень любили — мою непочтительную оценку произнесенной им на одном собрании речи. Ольминский по этому поводу потребовал от меня объяснений, на что я ему резко ответил, что никаких объяснений давать не желаю и пусть он не думает, что критика его есть *lèse majesté*⁶⁹. После этого мы встречались, холодно здоровались, но никогда не разговаривали; я чувствовал, что он точит зуб против меня. Ольминский слышал лишь часть того, что я говорил, но, очевидно, нашел, что момент меня щипнуть наступил и, перестав возиться с своими листками, обращаясь к Ленину сказал:

— Владимир Ильич, вас, наверное, тошнит от того, что говорит Самсонов? Вот как вдруг обнаруживается помещичье дитё. Сразу тайное делается явным, он так и икает дворянской усадьбой. О цветах и ароматах говорит совсем, совсем как 16-летняя институтка. Посмотрите, с каким увлечением рассказывает о красоте липовых и березовых аллей. Однако революционер не имеет права забывать, что в этих самых красивых липовых аллеях бары березовыми розгами драли крестьян и дворовых. Из рассказа Самсонова вижу, что ему очень захотелось снова увидеть места его счастливого детства. Для революционера таким чувствам поддаваться опасно. Затоскуешь, а там и усадьбу захочется приобрести. А дальше захочется, чтобы мужички работали, а барин, лежа в гамаке, с французским романом в руках приятно дремал в липовой аллее.

«Стрела», пущенная Ольминским, мне показалась верхом грубой глупости. Никогда, если меня о том спрашивали, ни от кого не скрывал, что родился в «дворянском гнезде». В сем «преступном акте» я не повинен. И если никогда не приходила в голову мысль, что за свое рождение в «дворянском гнезде» мне следует пред кем-то «каяться», «извиняться», «просить прощения», то еще более мне была чужда мысль сим рождением «гордиться». В моей ностальгии и в воспоминаниях не было ни одного малюсенького атома сожаления об утерянных материальных благах прошлой жизни. Ольминскому я мог бы указать, что мой отец, с которым за несколько лет до приезда в Женеву я порвал всякие отношения, за мои революционные воззрения лишил меня наследства. Я собирался уже возражать Ольминскому, но Ленин жестом остановил меня, заложил большие пальцы за отворот жилетки и начал говорить. Это была отповедь. Отпечаток болезненной вялости, подавленности, лежавший на нем несколько минут пред этим, с него слетел. Он говорил резко, с видимым раздражением.

— Ну и удивили же вы меня, Михаил Степанович! Послушав вас, придется признать предосудительными и, чего доброго, вырвать и сжечь многие художественные страницы русской литературы. Ваши суждения бьют по лучшим страницам Тургенева, Толстого, Аксакова. Ведь до сих пор наша литература в преобладающей части писалась дворянами-помещиками. Их материальное положение, окружающая их обстановка жизни, а в ней были и липовые аллеи, и клумбы с цветами, позволяла им создать художественные вещи, которые восхищают не одних нас русских. В старых липовых аллеях, по вашему мнению, никакой красоты не может быть, потому что их сажали руки крепостных и в них прутьями драли крестьян и дворовых.

Это отголосок упростиельства, которым страдало народничество. Мы, марксисты, от этого греха, слава Богу, освободились. Следуя за вами, нужно отвернуться и от красоты античных храмов. Они создавались в обстановке дикой, зверской эксплуатации рабов. Вся высокая античная культура, как заметил Энгельс, выросла на базе рабства. В чувствах и словах Самсонова не вижу абсолютно ничего, что позволило бы вам так распалиться. Человек прочитал Герцена, увлекся его страницами, они напомнили ему места, где он родился, и всё это так разожгло его тоской по России, что он на крыльях бы улетел из паршивой Женевы.

Что здесь предосудительного, непонятного, странного? Ничего. А вот ваша мысль идет уже действительно странным путем. Раз Самсонову нравятся липовые и березовые аллеи, клумбы с цветами помещичьих усадеб, значит, заключаете вы, он заражен специфической феодальной психологией и непременно дойдет до эксплуатации мужика. Извольте в таком случае обратить внимание и на меня. Я тоже жил в помещичьей усадьбе, принадлежащей моему деду. В некотором роде *я тоже помещичье дитя*. С тех пор много прошло лет, а я всё еще не забыл приятных сторон жизни в этом имении, не забыл ни его лип, ни цветов. Казните меня. Я с удовольствием вспоминаю, как валялся на копнах скошенного сена, однако не я его косил: ел с грядок землянику и малину, но я их не сажал; пил парное молоко, не я доил коров. Из сказанного вами по адресу Самсонова вывожу, что такого рода воспоминания почитаются вами недостойными революционера. Не должен ли я поэтому понять, что тоже недостойн носить звание революционера? Подумайте хорошенько, не слишком ли вы строги, Михаил Степанович?

Ольминский ничего не ответил, только теребил свои бумаги. Он не посмел отвечать. После отповеди Ленина, по тону и выражениям гораздо более резкой, чем я передал, желание отвечать Ольминскому у меня исчезло. «Противник» и без того был положен на обе лопатки. Атака Ленина мне так понравилась, что очень хотелось бы дружески похлопать его по спине. В этот момент я чувствовал к нему особое расположение. К тому времени я достаточно знал, что Ленин скрытен, несмотря на это, не обратил никакого внимания, что, отвечая Ольминскому, Ленин приоткрыл «уголок», в который он никому не позволял залезать.

Его признание, что он сам «в некотором роде помещичье дитя», сопровождаясь дополнением, что он не забыл приятных сторон жизни в имении, не забыл его лип и цветов (речь шла, конечно, о Кокушкине!), открывало вход в уголок, может быть, больше того, что хотел Ленин. Только чрез несколько десятков лет, найдя ключи к пониманию Ленина и материал относительно его прошлой жизни, я смог понять, что скрывалось за его отповедью Ольминскому. Я тогда думал, что, «благоволя ко мне», он хотел защитить меня. Ничего подобного.

Не меня он защищал, *а себя*, выражая точнее свои, тоже вдруг ожившие, воспоминания о детстве и юношеских годах, о лете, проведенном в Кокушкине, в 40 верстах от Казани.

Когда Ленин говорил, что он не забыл его лип («самое, самое мое любимое дерево!») — его память обращалась туда — в Кокушкино, где «у крутой дорожки, сбегавшей к пруду, росли старые липы, посаженные в кружок и образовавшие беседку». Сюда постоянно бегал Ленин, будучи маленьким, светловолосым, кудрявым Володей Ульяновым. О чем думал Ленин, слушая мой рассказ о клумбах в Подъеме и задумчиво спрашивая: «А много ли было цветов, какие?». Теперь я могу и на это ответить. Мать Ленина и его тетя Анна Александровна страстно любили цветы; в принадлежащем им имении всюду около старого дома, и около флигеля, летом было множество цветов: «Резеда, левкой, душистый горошек, душистый табак, настурции, флоксы, гераний и мальвы в середине клумб». Вот о чем думал Ленин!

Заявление Ленина, что ему совсем не чужды сентименты, связанные с его жизнью в качестве «помещичьего дитяти», — повторяю, не произвело на меня тогда никакого впечатления.

Наоборот, теперь оно вызывает во мне удивление. Как мог сентиментальничать и быть откровенным такой несентиментальный человек, как Ленин, отличавшийся к тому же огромной скрытностью, которую он привил и Крупской? Она не столько из боязни полиции, а из боязни, что кто-нибудь может заглянуть в тайный «уголок» Ленина, подчиняясь его требованию, немедленно по прочтении уничтожала все поступившие лично к ней его письма. Сохранила только одно (в 1919 г.). Чем объяснить, что Ленин, внезапно отбрасывая скрытность, с таким раздражением и даже страстью накинулся на Ольминского? Вместо ответа, не лучше ли сослаться на следующие факты.

Редакция газеты «Искры», подготовлявшей русскую революцию, газеты с правом носившей эпитафией слова Герцена «Из искры возгорится пламя», — состояла из шести лиц: двое — Аксельрод и Мартов (Цедербаум) — были еврей-разночинцы, остальные четверо — Плеханов, Потресов, Засулич, Ленин — дворяне, выросшие в помещичьих усадьбах. В. Г. Плеханов, проживший 27 лет за границей, никогда не мог забыть имения Гудаловка, недалеко от Липецка. Приехав в 1917 г. в Россию (умер в 1918 г.), он горевал, что обстоятельства ему не дают возможности вновь увидеть место, где протекали его детство и юность. Его супруга Р. М. Плеханова мне рассказывала, что за две недели до смерти он просил ее, когда его не будет, вместо него побывать в Гудаловке. Другой член редакции А. Н. Потресов — в своих воспоминаниях

в 1927 г. — указывал, что он никогда не мог забыть имения своего дяди — Никольского, где обычно жил летом.

«Побывка в Никольском вызывала во мне неизменно целый сложный комплекс необыкновенно радостных чувств. Я до сих пор еще ощущаю то магическое действие, которое это слово — Никольское — производило на меня. Преобладало, вероятно, убеждение, что нигде, как в Никольском, нет для меня такого запаса занимательных вещей, способных превратить мое лето в один сплошной, нескончаемый праздник».

Третий член редакции — Вера Ив. Засулич — с детства и в течение долгих лет жила в имении своих родственников — Бяколове.

«Я не думала, — пишет она в своих предсмертных воспоминаниях, — что весь век буду вспоминать Бяколово, что никогда не забуду ни одного кустика в палисаднике, ни одного старого шкафа в коридоре, что очертания старых деревьев, видных с балкона, будет мне сниться через долгие, долгие годы».

В этой области чувства Ленина мало отличаются от других помещичьих детей. Как и они, он говорил: «Прошло много лет, а я всё еще не забыл приятных сторон жизни в имении деда».

Кокушкино — имение деда Ленина — после его смерти принадлежало матери Ленина и ее сестре, которая была замужем за Веретенниковым. Ульяновы из Симбирска, Веретенниковы из Казани приезжали в Кокушкино на всё лето. Обе семьи следовали примеру всех дворянских фамилий, переселявшихся летом в свои поместья. Выезды из Симбирска в деревню были для детей Ульяновых, в том числе и Владимира (Ленина), неиссякаемым источником радостей, предметом нетерпеливого ожидания. Старшая сестра Ленина — Анна об этом говорит в своих воспоминаниях (А. И. Ульянова, «Пролетарская Революция», 1927 г., № 1, стр. 84.).

«Задолго начинали мы мечтать о поездке в Кокушкино, готовиться к ней. Лучше и красивее Кокушкина, деревеньки действительно очень живописной, для нас ничего не было. Думаю, что любовь к Кокушкину, радость видеть вновь эти места, передалась нам от матери, проведшей там свои лучшие годы. Конечно, деревенское приволье и деревенские удовольствия, общество двоюродных братьев и сестер, были и по себе очень привлекательны для нас. Особенно позднее, после стен нелюбимых нами казенных гимназий, после майской маяты с экзаменами, лето в Кокушкине казалось чем-то несравненно красочным и счастливым».

«С приездом в Кокушкино, — вторит двоюродный брат Ленина Веретенников, — наступал для нас настоящий праздник. Отменялись занятия иностранными языками, подготовка к переэкзаменовкам... Мы знали всегда заранее день, когда должны приехать Ульяновы и старались угадать час их приезда. Целым обществом отправлялись пешком встречать их километра за два, на перекресток, к постоялому дворику. Иной раз мы не угадывали время приезда и выходили два-три раза в день. А встретив, целой компанией, радостные и веселые, возвращались домой»...

Зимой мертвое, Кокушкино летом оживало. Детский гомон и смех раздавались повсюду. Больше всех шумел, разумеется, Володя Ульянов. Для него, как и для всех, открывалась полоса непрерывных удовольствий и развлечений: купание в реке, экскурсии на лодке, прогулки в лес за ягодами и грибами, игры в крокет, в горелки, игра на биллиарде, устройство фейерверков, пускание бумажных змей, поездки с самоваром в так называемый «Передний Лес» и т. д. Сытую, полную разнообразных деревенских удовольствий помещичью жизнь Ленин узнал не понаслышке, не по одним книгам Льва Толстого, Тургенева, Герцена, Аксакова, Гончарова. Он с этой жизнью был хорошо знаком.

У Ленина тут ничего отличного от других помещичьих детей — ни от Плеханова, Потресова, Засулич. Но дальше уже громадное различие. Плеханов, как Потресов и Засулич, хотели бы, чтобы вопрос о «Гудаловках, Никольских, Бяколовых» революция решала без варварства, не убивая владельцев «дворянских гнезд», не поджигая их дома, не выбрасывая их из «гнезд» голыми, без всякого имущества. Так не поступают, писал Плеханов, если «у победителя сердце льва, а не гиены». Ленин рассуждал по-иному: победитель должен быть беспощадным!...

<...>

Столкновение с Плехановым. Первая стычка с Лениным

<...>

...Не могу не вспомнить жаркую полемику по поводу формул Плеханова весной 1902 г. в киевской тюрьме. Ее пришлось вести с социалистами-революционерами — соседями по камере. Они доказывали, что в мировоззрение марксизма, в том виде в каком его

проповедует именно Плеханов, введен фаталистический элемент, понижающий роль личности, сковывающий ее волю.

Пылкий социалист-революционер Н. И. Блинов⁷⁰, трагически погибший во время еврейского погрома в 1905 г., был всегда начинщиком споров на эту тему. Поддерживая престиж Плеханова, я всегда возражал Блинову, главным образом из партийного упрямства. «Признаете ли вы, — спрашивал Блинов, — огромную роль во французской революции Робеспьера?»⁷¹ «Конечно, признаю». «Признаете ли вы, это уже совсем в другой области, роль таких гигантов, как Леонардо-да-Винчи, Микеланджело, Рафаэль?»⁷² Имена были слишком громки, чтобы и без большого знания о творчестве этих лиц и их роли в истории искусства не сказать: «Конечно, признаю». «А если так, — торжествовал Блинов, — отрекайтесь скорее от идей Плеханова, своими ответами вы уже показали, что их не разделяете». В подтверждение он приводил следующие цитаты из статьи Плеханова «Роль личности в истории», под псевдонимом Кирсанова, напечатанной в 1899 г. в журнале «Научное обозрение».

«Если бы случайный удар кирпичом убил Робеспьера, его место, конечно, было бы занято кем-нибудь другим, и хотя бы этот другой был ниже его во всех смыслах, события пошли бы в том самом направлении, в каком шли при Робеспьере», — писал Плеханов.

В таком случае, что такое Робеспьер? Пятая спица в колеснице. У колесницы ход «независимый» от всех Робеспьеров. А вот другая цитата.

«Если бы какие-нибудь механические или физиологические причины еще в детстве убили Рафаэля, Микеланджело и Леонардо да Винчи, итальянское искусство было бы менее совершенно, но общее направление его осталось бы то же».

В формулах Плеханова был какой-то экивок, что-то ложное, против чего прежде всего протестовал темперамент. Доводя аргументы Плеханова до нашего времени, нужно сказать, что если какие-нибудь «механические и физиологические» причины убили бы Ленина в 1903 г., Сталина в 1916 г., Гитлера⁷³ в 1918 г., дальнейший ход событий был бы и без них совершенно таким же, двигался бы в том же направлении, как и при этих личностях. Согласиться с таким взглядом *невозможно*.

Было кое-что и другое, что не притягивало к Плеханову. Он был талантливым человеком, но большой ум его был холодным,

смотрящим на мир чрез черствые рационалистические схемы. Свойственного нам, молодым социалистам, энтузиазма, восторженности, преклонения пред идеей, образом, даже словом — социализм Плеханов, в том можно быть уверенным, совсем не испытывал. Социализм был для нас чем-то очень хорошим, теплым, светлым, красивым и за эти качества желаемым. Социализм — освобождение, возрождение человечества под ласкающими лучами солнца гуманизма.

Мы непрестанно ездили верхом на «экономическом факторе», но «экономика» была как бы некрасовской скатертью-самобранкой, ладьей, чудесно выносящей чрез капитализм, чрез мрачное море неравенства, бедствий, эксплуатации на лазурный берег будущего строя. Для нас социализм выражался глаголами *sollen, wünschen* (должны, желаем). Для Плеханова он был не столько «долженствованием», сколько «исторической необходимостью». «Последователь научного социализма смотрит на осуществление своего идеала как на дело *исторической необходимости*. «Социалист служит одним из орудий этой необходимости». Что бы ни происходило в капиталистическом обществе, оно неизбежно, с железной необходимостью, будет замещено социалистическим строем.

Это своего рода фаталистический механизм, и мне казалось, что у Плеханова его было неизмеримо больше, чем у Маркса, и намного больше, чем у Ф. Энгельса. По Плеханову, вне зависимости от того, что делает или не делает личность, социализм — неотвратимый финал экономического развития современного общества. Присущие ему жестокие противоречия и классовая борьба неизбежно должны окончиться диктатурой пролетариата и социализацией средств и орудий производства. А дальше что? Это Плеханова не интересовало. «В социалистическом строе, — заявил он однажды Крупской (в 1901 г.), — будет смертельная скука: в нем не будет борьбы». Бедная Крупская от слов Плеханова чуть было не упала в обморок...

Таковы доводы, чувства, предубеждения издавна, с первых годов знакомства с марксизмом, не делавшие меня поклонником Плеханова. Однако познакомиться с ним, повторяю, я очень хотел и в назначенный им день и час, точно, без минуты промедления, явился к нему. Меня ввели в большую темноватую комнату и попросили подождать. Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Было

слышно где-то стукание посуды и передвижение стульев, а потом гробовая тишина.

Проходит двадцать, двадцать пять минут. Я начал от нетерпения ёрзать на стуле. Чтобы напомнить о себе — кашляю и громко сморкаюсь. Тишина. Проходит тридцать минут, и я решаю: буду медленно считать до 30, а после этого открою дверь и уйду. Как раз в этот момент и появился Плеханов.

Я видел его впервые. Бросились в глаза густые, сросшиеся брови, имевшие, как у одного персонажа Мопассана⁷⁴, «l'air d'une paire de moustaches placés là par erreur»⁷⁵. Бросился в глаза особый, «натянутый» облик Плеханова. Он учился в военном училище, потом в юнкерском училище и, по словам Л. Г. Дейча⁷⁶, его старого товарища, стремился всегда сохранить военную выправку. Его не славянское, а скорее восточного типа лицо — грузина, осетина, узбека (в самой фамилии Плехан нечто татарское) ошеломило меня сходством с человеком, которого я хорошо знал. С кем? Георгий Валентинович Плеханов был удивительно похож на своего брата — Григория Валентиновича Плеханова — полицейского исправника.

Вот судьба! Один брат — революционер и выдающийся член Социалистического Интернационала, другой — полицейский чин, обязанный охранять царское самодержавие от посягательств революции, руководимой его братом. Отец Плеханова, о чем я узнал позднее, был женат два раза, второй раз на Белинской, отдаленной родственнице знаменитого Виссариона Григорьевича Белинского. Георгий и Григорий Валентиновичи родились от второго брака. Кто из них был старше — не знаю. Сходство их внешнего облика, повторяю, было поразительным. Главное отличие, пожалуй, в том, что Григорий Валентинович был ростом выше и всегда носил пенснэ. Плеханова-исправника я знал очень хорошо. Свой пост он занимал в городе Моршанске, Тамбовской губернии, где жили мои родные, где я вырос и учился в реальном училище. В той же губернии, недалеко от города Липецка, в деревне Гудаловке, в помещицкой семье, родился 25 ноября 1851 г. и Георгий Валентинович Плеханов — «отец русского марксизма», с произведением которого в начале 1889 г., как он сам мне сказал, впервые познакомился 19-летний Ленин-Ульянов.

Исправника Плеханова ни в коем случае нельзя было занести в галерею полицейских держиморд, описанных Щедриным. Правда, вид у него был важный и суровый, он горделиво носил во-

енный мундир (и почему-то шпоры!), но по натуре своей был очень мягок, как говорится, не мог и мухи убить. Мой отец — в то время уездный предводитель дворянства, — всех и вся ругавший и презиравший, находил, что Плеханов относится к своим полицейским обязанностям с недопустимой халатностью.

«Я даже допускаю, сказал он однажды, что сей вояка, бречающий шпорами, находится в нежной переписке со своим братцем, который в Женеве крутит революцию». Так я узнал, что у нашего милейшего исправника есть опасный брат. И вот что в связи с этим я припоминаю. Это было в одно из воскресений весною, вероятно, в 1895 г.

В такие дни вечером городской сад Моршанска с цветущей сиренью наполнялся обывателями, важно и солидно топтавшихся по главной аллее, длиною не больше трехсот метров. Из ресторана при саде оглушительно пахло жареными цыплятами и пирожками, а в павильоне военный духовой оркестр без устали трубил «Невозвратное время» и другие вальсы. Я сидел на скамейке против памятника основательницы города «матушки царицы Екатерины Великой».

Плеханов, прогуливаясь, увидев на скамейке незанятое место, сел рядом со мною. Он приходил к нам довольно часто играть в винт с моим отцом и, конечно, знал меня. О чем он меня спрашивал, с чего начался разговор — совершенно не помню, только у меня «спонтанно» вырвалась такая фраза:

— Григорий Валентинович, а ведь если придет революция, памятник царицы наверное повалят. Во время французской революции выбросили вон даже гробы королей. — И чтобы «легализировать» мою фразу, я тут же прибавил:

— О таком безобразии нам на днях подробно рассказывал В. Д. Дейнеко (учитель истории).

Плеханов покосился на меня с видом полного удивления.

— Что за охота пустяки говорить! Если придет революция? Да она никогда не придет. В России не может быть революции. Она не Франция.

Плеханов говорил то самое, что вечно твердил мой отец, что в «Новом времени», самом влиятельном органе 90-х годов, весьма образно вещал его издатель — Суворин⁷⁷: «Я скорее поверю в появление на Каменноостровском проспекте Петербурга огнедышащего вулкана, чем в возможность революции в России».

Если бы Суворин дожил до 1917 г., он смог бы увидеть «вулкан» революции и Ленина, произносящего «огнедышащие» речи с балкона дворца балерины Кшесинской именно на Каменноостровском проспекте.

Не знаю, какой чёрт меня толкал, но после реплики Плеханова, я спросил его:

— А ваш брат по-прежнему живет в Женеве?

Не ожидал, что сей вопрос может произвести такой эффект. По лицу Плеханова пробежали смущение, даже страх. Думаю, что он никак не предполагал, что кто-нибудь знает (а если знаю я, то уже наверное знает мой отец и другие), что у него, исправника, такая политически его компрометирующая родня. Он поднялся со скамейки, выпрямился и совершенно так же, как во время публичных речей это делал Плеханов — женевский, деланно, неестественно, топнул ногой:

— У меня нет брата!

Быстро отошел от меня и больше разговоров со мною уже никогда не вел. Я ввожу в мои воспоминания эту историю с исправником Плехановым не потому, что одолеваем неудержимым желанием болтать, погружаясь в прошлое. Она мне понадобится в дальнейшем, когда буду говорить об одном письме Ленина в редакцию «Искры», о карикатуре, нарисованной Лепешинским, и «скандалном» выступлении «Нилова», инспирированном Лениным.

И вот девять лет спустя после описанной сцены с Плехановым-Моршанским, я стоял пред его братом — Плехановым-Женевским. Потому ли, что он был болен, в скверном настроении, чем-нибудь раздражен или просто потерял желание говорить о философии и пропаганде среди сектантов с каким-то Ниловым, посланным большевиком Бончем, Плеханов принял меня более чем холодно. Он не извинился, что заставил так долго ждать его «выхода», а, подойдя ко мне, передал мою рукопись и сказал:

— Вы правильно анализируете схоластику сектантов и правильно отвечаете на их мнимо философские и всякие другие вопросы. Тут, как и во всем другом, только материализм и Марксова диалектика дают в руки действительное оружие.

«Аудиенция» на этом была окончена. Приглашения сесть и побеседовать я не получил. А так как мое самолюбие было задето и долгим ожиданием, и ледяным приемом, я почувствовал острое желание пред уходом сказать в отместку Плеханову что-нибудь

неприятное, такое, что должно было ему казаться вызывающей дерзостью.

Холодным тоном, выражая ему благодарность за признание «правильности» моего анализа, я сказал, что «почитаю своим долгом» заметить, что в этом анализе философский материализм никакой роли не играл. «От этого материализма я окончательно ушел уже несколько лет и теперь убежден, что для экономической доктрины Маркса и его социологии, так называемого материалистического понимания истории, отнюдь не обязанного быть связанным с философским материализмом, гораздо лучшую гносеологическую основу дает эмпирио-критическая философия Авенариуса и Маха»⁷⁸. Как и нужно было ожидать, такой наглости Г. В. Плеханов перенести не мог. Не он ли доказывал, что социология Маркса предполагает и органически связана с философским материализмом в его, Плеханова, понимании? Когда Плеханов услышал мое «наглое» отрицание этой истины, его брови, усы угрожающе поднялись чуть ли не до половины лба.

— Авенариус? Мах?

— Извлекая из подвалов буржуазной мысли этих птиц, вы хотите с помощью их «исправить» марксизм? — грозно спросил он.

— Почему же непременно из подвалов и почему буржуазных?

— Ну, знаете ли, это легко понять даже при самом небольшом напряжении мысли. Видите ли, знающие люди считают, что на верху философской мысли стоят такие умы, как Кант, Гегель, Фихте, Шеллинг, Фейербах⁷⁹, французские материалисты, среди них ваших птиц нет. Значит, раз они существуют, то, нужно полагать, обретаются в какой-то более низкой, вероятно, очень низкой атмосфере. Я и назвал ее подвальной. А что же касается их буржуазности, ничто не должно вам мешать догадаться, что я знаю всех философов по духу, по направлению мысли, связанных с революционным учением Маркса и Энгельса. Смею вас уверить, что среди них ваших птиц нет. Они существуют вне всякого касательства к марксизму. А вне — это значит в атмосфере буржуазной идеологии.

— Из ваших слов я могу заключить, что с философией ни Авенариуса, ни Маха вы не успели еще ознакомиться?

— Не успел и всё как будто говорит, что я не смогу вам обещать знакомства с вашими птицами. Я занят по горло партийной и литературной работой. Я не имею времени, ни права заниматься

пустяками, браться за чтение того, что иным людям по молодости, по недостатку опыта и знаний может казаться каким-то новым откровением, а в действительности является перепевом хорошо мне знакомых заблуждений.

Тон Плеханова (я со стенографической точностью передаю его слова, в свое время они были мною записаны) становился всё более и более дерзким. В свою очередь, раздражаясь, я пустил в него «пульку», которой уже пользовался в аналогичных спорах.

— Итак, вы не читали ни Авенариуса, ни Маха. Вы просто их не знаете. Вы сами это признаете, что не мешает вам их критиковать и налепливать на них этикетку: «буржуазные подвалы». По этому поводу мне вспоминаются слова Гейне⁸⁰: «Писателя Ауффенберга⁸¹ я не знаю, полагаю, что он вроде Арленкура⁸², которого я тоже не знаю».

Плеханов очень внимательно посмотрел на меня, скрестил руки и, отчеканивая каждое слово, сказал:

— Отвечу вам кратко. Вашего Ауффенберга я потому испытываю весьма малое желание знать, что очень хорошо знаю его духовных предков, его мамашу, которая, сражаясь с материализмом, философски обслуживает классовые интересы буржуазии. Какие у этой ведьмы и ее потомков глаза — красные, желтые или белые, меня абсолютно не интересует. С меня достаточно знать, что это порода ведьм. На этом и окончим наш разговор. Жаль, что у меня не было времени более внимательно ознакомиться с вашей рукописью. Стоило бы проследить, не сказалось ли где-нибудь в ней буржуазное влияние вашего философа, как бишь его — Ауффенберга.

Мне оставалось раскланяться и выкатиться кубарем из квартиры Плеханова. Я отправился к Бонч-Бруевичу, который сердито накинулся на меня, когда я рассказал ему происшедшее.

— Чёрт вас дергал за язык! К чему это было злить Плеханова, подсовывая ему каких-то философов! Теперь, поверьте мне, он возьмет вас на мушку, он непременно найдет в ваших статьях какие-нибудь вредные ереси. Я уверен, что на этой почве у нас могут быть неприятности.

Причинять неприятности редакции «Рассвета», т. е. Бонч-Бруевичу, я менее чем кто-либо хотел. Сразу кончая с разговором на эту тему, я взял мою рукопись и на глазах Бонча порвал ее на мелкие клочки. Рвал по-глупому, с остервенением, досадой,

раздражением. Бонч меня еще раз ругнул, но, думаю, этим концом остался доволен.

На другой день, придя к Ленину я, разумеется, рассказал о моем визите к Плеханову. Плеханов ему импонировал как никто другой, больше чем Каутский⁸³, больше чем Бебель⁸⁴. Всё, что тот говорил, делал, писал — его крайне интересовало. Он превращался в одно внимание, когда речь заходила о Плеханове. «Это человек колоссального роста, перед ним приходится съеживаться», — сказал он Лепешинскому. Пришлось рассказать, из-за чего весь сыр-бор разгорелся.

Я должен был эту историю представить с самого ее начала, т. е. с описания киевского кружка сектантов, роли в нем Семена Петровича, его идей. Помню, что Ленин, засунув большие пальцы за борта жилетки около подмышек, — стоял около меня (я сидел) и слушал с явным любопытством. По поводу веры Семена Петровича, его деления людей на «злых» и «совестливых», возможности построить социализм только руками «справедливых людей» — Ленин что-то говорил. Припомнить его слова было бы сейчас не плохо. Я их не помню и думаю, особенно при отвращении Ленина ко всему морализированию, что его замечания по этому вопросу ничего особо интересного не содержали. Будь иначе, я их бы, наверное, запомнил. Наоборот, память превосходно сохранила то, что затем говорил Ленин, ибо тут обнаружилось мое первое с ним разномыслие, воспринятое мною с большой тревогой и неприятностью. Из него вытекало, что, несмотря на признание Ленина большим человеком, очень большую к нему симпатию, желание идти за ним и вместе с ним, — есть весьма важные вопросы, отношение к которым Ленина меня отвращает. Я увидел, что как бы ни было в области партийной враждебно его отношение к Плеханову, Ленин незамедлительно, без колебаний, встал на его сторону в области философии, притом в форме, произведшей на меня тяжкое впечатление.

— Вы заявили Плеханову, что материализм нужно заменить какой-то разновидностью буржуазной философии. Но ведь это вздор, вреднейший вздор! Плеханов трижды прав, дав вам немедленно отпор. Не нужно смешивать Плеханова, заседающего в компании оппортунистов в редакции новой «Искры», с Плехановым после смерти Энгельса, лучшим знатоком и лучшим комментатором марксистской философии. Несколькими фразами он вас отхлестал, и поделом! В этих вопросах у него нюх острейший. А я не знал —

это для меня большая новость, — что и у вас склонность исправлять Маркса.

— Позвольте заметить, что Плеханов назвал теорию познания Авенариуса и Маха подвалом буржуазной мысли, даже не потрудившись с нею познакомиться, даже не прочитав ни одной их строки. Такое отношение к чужой и научной мысли меня возмущает. Это — Шемякин суд.

— Во-первых, не думаю, что Плеханов не знает ваших философов. За философией он следит. А если он вам сказал, что их не знает, вероятно, потому, чтобы подчеркнуть свое презрение к ним. Во-вторых, напрасно возмущаетесь. Мы теперь превосходно знаем, к чему ведут пробы соединения Маркса с чуждыми его духу теориями. Это наглядно показывает Бернштейн⁸⁵, а у нас хотя бы Струве и Булгаков. Струве от поправляемого им марксизма быстро скатился к самому пошлому, вонючему либерализму, а Булгаков катится еще в более мерзкую яму. Марксизм — монолитное мировоззрение, он не терпит, чтобы его разжижали, опошляли разными вставочками и приставочками. Говоря о какой-то критике марксизма, не помню уже о ком, Плеханов однажды мне сказал: *«Сначала наклеим на него бубновый туз, а потом разберемся»*. А я считаю, что на всех, кто хочет колебать марксизм, *нужно лепить бубновый туз, даже не разбираясь*. Такой должна быть реакция всякого здорового революционера. Когда на своей дороге встречаете зловонную кучу, вам не требуется копаться в ней руками, чтобы определить, что это за вещь. Вы носом сразу чувствуете, что это г...о, и проходите мимо.

От слов Ленина у меня дыхание сперло.

— Из огня Плеханова я попадаю в ваше полымя, — сказал я. — Плеханов говорит, что философы Авенариус и Мах, хотя они ему неизвестны, — ведьмы, и, какие у них глаза, красные или желтые, его не интересует. А другой наш теоретик — Ленин рекомендует, не разбираясь в их теориях, клеймить этих людей бубновым тузом. Вы всё время повторяете: буржуазная философия, буржуазные философы. Теория Авенариуса и Маха не есть какая-то метафизическая концепция, это попытка создания научной теории познания, основанной только на опыте. Прежде чем лепить на нее бубновый туз — попробуйте ее узнать и в ней разобраться.

Нет буржуазной или пролетарской астрономии, алгебры, физики или химии, нет и буржуазной теории познания. Речь мо-

жет идти только о том — верна или неверна теория Авенариуса и Маха. Даже допустив, что в ней есть какие-то элементы, присутствующие буржуазному образу мысли, нельзя без предварительного доказательства клеймить ее авторов как преступников бубновым тузом. Вы упомянули Булгакова.

Будучи студентом Политехникума, я был одним из участников его экономического семинария. Он организовал его для студентов, желающих в области социальных наук знать больше того, что дает в течение часа лекция по политической экономии. В этом семинарии мы при полной свободе ставили и обсуждали разные вопросы.

И почти каждое наше собрание Булгаков открывал торжественным напоминанием: «Истина добывается честным, свободным, лояльным сопоставлением идей». Откровенно говорю, — такой метод мне гораздо более по душе, чем ваш бубновый туз.

— Ах, вот как! Вы, значит, были в семинарии Булгакова. Еще одна новость! Не поздравляю, не поздравляю. Не под влиянием ли Булгакова у вас и появилась склонность к исправлению Марксовой философии? Это скользкая дорожка. Социал-демократия не есть семинарий, где сопоставляются разные идеи. Это боевая классовая организация революционного пролетариата. У нее есть программа, мировоззрение, принадлежащий только ей строй идей. В ней на особую свободу критики и сопоставление идей — нечего рассчитывать. Кто вошел в партию, должен следовать за ее идеями, их разделять, а не колебать. Если они не нравятся — вот Бог, а вот порог, выход свободен. Мы хорошо теперь знаем, что скрывается за так называемой «свободой критики», которую требуют не пролетарские, а именно интеллигентские, зараженные буржуазными предрассудками, элементы социал-демократической партии. Повторяю: молодец Плеханов. Он сразу почувствовал, что вас следует ударить.

— Владимир Ильич, смею вас уверить, ни в какой мере я ревизионизму не сочувствую. Если у меня есть симпатия к философии Авенариуса и Маха, то только потому, что она самым революционным образом сокрушает всякую метафизику. Познакомьтесь с нею, вы это признаете. Отвергая ревизионизм, всё-таки не думаю, что марксизм есть нечто застывшее, раз навсегда данное, исключаящее какие-либо изменения. Плеханов однажды писал, что марксизм есть абсолютная истина, которую уже не отменит *никакой рок*. Как вы относитесь к этой формуле? Как совместить ее с диалектикой?

— Я полностью согласен с Плехановым. Маркс и Энгельс наметили и сказали всё, что нужно сказать. Если марксизм нуждается в развитии, — то только в направлении, указанном его основоположниками. Ничто в марксизме не подлежит ревизии. На ревизию один ответ: в морду! Ревизии не подлежат ни марксистская философия, ни материалистическое понимание истории, ни экономическая теория Маркса, ни теория трудовой стоимости, ни идея неизбежности социальной революции, ни идея диктатуры пролетариата, короче, ни один из основных пунктов марксизма!

Таково было мое первое разногласие с Лениным. Это было приблизительно в начале марта. Несмотря на мои вспышки во время беседы, Ленин всё-таки не придал им большого значения: я несколько раз ему сказал, что к ревизионизму ни в малейшей степени симпатии не чувствую. Благоволение ко мне Ленина еще не было нарушено. Лишь через три с половиной месяца, когда разногласие с ним приняло явную и острую форму, он вспомнит мартовский разговор и сделает из него дополнительный аргумент для занесения меня в стан «врагов».

В день начавшего проявляться разномыслия с Лениным я чувствовал себя совсем неуютно. Если бы у меня была смелость заглянуть поглубже в себя, посмотреть, что делается на моем «теоретическом чердаке», я не смог бы тогда сказать, что не имею ничего общего с ревизионизмом...

<...>

Две встречи. Полный разрыв с Лениным

<...>

Мартов умер в 1923 г. в Берлине в эмиграции (третий раз!) на пятидесятом году. Заседания, собрания, прения, споры, волнения, нескончаемое словоговорение, бессонные ночи, невынимаемая изо рта папироса, эмигрантская тина — погубили этого талантливоего человека. Даже удивительно, как при такой жизни его хилый организм дотянул до 50 лет.

Как тургеневский Рудин, он мог бы сказать: «Природа мне многое дала, но я умру, не сделав ничего достойного сил моих». Он написал множество газетных и журнальных статей, брошюр, неоконченную книгу воспоминаний, но то, что он дал, лишь не-

большая, невеская частица того, что мог бы и должен бы дать. Если бы этот человек освободился от связывающего его мозг ортодоксального марксизма, способность быстро схватывать и понимать самые сложные проблемы сделала бы из него первоклассного теоретика, обеспечила бы ему проникновение в самую гущу социальных явлений.

Расставаясь со мною после длительной беседы, в течение которой, хочу сугубо подчеркнуть, ни разу не был поднят вопрос о партийных разногласиях и роли в них Ленина, Мартов в дружеской форме мне сказал:

— Должен вам сказать, вне того, что читал у Маркса, Энгельса, Плеханова, я мало занимался философией. Прочитал Канта, читал Гегеля, кое-кого другого, осилил несколько историй философии, но такого багажа мало, чтобы как следует разобраться и судить об ошибках или действительной ценности той философии, о которой мы с вами говорили. Какой вывод у меня слагается из разговора с вами?

У марксизма вы хотите вынуть всю его традиционную испытанную в боях философию и заменить другой. Вы думаете, что такая операция никак не отразится на основных частях революционного марксизма, а лишь укрепит их. Этот взгляд я совершенно не разделяю. Скажу вам откровенно — соединение марксизма с защищаемой вами философией мне представляется как один из видов ревизионизма. Трудно допустить, что этот ревизионизм не перекинется в область социологическую, экономическую, политическую. Пример Струве, начавшего с замены материализма философией Рилля⁸⁵, — дает именно такую картину. Но эмпириокритицизм, как я мог заключить из нашего разговора, философия более серьезная, чем Рилля и чем те, которыми пользуются Бернштейн и другие ревизионисты. Поэтому с ним нужно бороться не наскоком, а серьезной критикой, основательным анализом.

Расставшись с Мартовым, я думал: сильно же отличается он от Ленина! Это два разных психологических типа. С тем и другим пришлось обсуждать одни и те же вопросы, а какая разница в самом подходе к ним. Мартов, прежде чем их откинуть, — хочет понять. Ленин же (как и Плеханов) считает, что нужно лепить бубновый туз, даже не разбираясь; Мартов говорит — нужен не наскок, а серьезная критика, Ленин же, очертив вокруг себя круг, всё, что вне его, топчет ногами, рубит топором.

И опять, уже не первый раз, меня укусила мысль: большевик ли я, в какой степени я большевик? Если речь идет о волюнтаризме и проявлении воли, которое меня так прельстило в ленинском «Что делать?...» и чего я инстинктом чувствовал нет у Мартова и других меньшевиков (я никогда не забывал киевского Александра — Исува!⁸⁶), — тогда и *только по этому признаку* — я большевик. Но этого ведь еще недостаточно, чтобы я продолжал считать себя связанным принадлежностью к большевистской группе. Связь с нею разбил сам Ленин, и после свидания с Мартовым, произведшего на меня несомненное впечатление, эта связь стала еще слабее, превратилась в тонкую ниточку.

Симпатия к Мартову, появившаяся во время нашей встречи, наверное, усилилась, если бы я знал следующий факт. В № 77 «Искры» (от 5 ноября 1904 г.) появилась статья Ортодокс (Л. И. Аксельрод) под заглавием «Новая разновидность ревизионизма». В это время всем уже стало известным, что большевики создают свою собственную партию, готовятся организовать свою газету и во главе этого политического предприятия стоит, кроме Ленина, Богданов. «Дуумвират» Ленина и Богданова подвергся обстрелу меньшевиков. Каким это образом Ленин — ультра-ортодокс, не выносящий за тысячи километров малейшего запаха ревизионизма, — оказался в политическом браке с «господином» Богдановым, явным ревизионистом, ибо он не признает философии ортодоксального марксизма? Куда делась принципиальная непримиримость, которой так щеголял Ленин, когда писал против оппортунистов и ревизионистов «Шаг вперед — два шага назад»? С явным намерением прищемить Ленина и столкнуть его с Богдановым, Л. Ортодокс и начала свою статью следующими словами:

«Приблизительно года полтора тому назад Ленин обратился ко мне с предложением выступить против новой “критики” Марксовой теории, выразившейся в сочинениях г. Богданова. Ленин энергически настаивал на том, чтобы я немедленно занялся оценкой этого течения. Он говорил мне при этом, что он обращался с этим предложением к Плеханову, но что Плеханов, вполне разделяя необходимость такой работы, тем не менее отказался от нее, вследствие более насущных и неотлагательных партийных занятий».

За сим следовала критика «ревизионизма» Богданова и указание, что свои неверные взгляды он черпает из философии

Авенариуса и Маха, а эти люди якобы отрицают существование независимого от нас материального мира и во внешнем предмете усматривают лишь метафизическое предположение. Статья Ортодокса была до чрезвычайности слаба. Из нее проступало полное непонимание эмпириокритицизма, сущность которого она излагала несвязанными, аляповатыми фразами. Ошибки Богданова, порожденные не эмпириокритицизмом, для человека знающего его произведения — заметить очень легко. Ортодокс прошла мимо них.

Плеханов в то время, нет сомнения, незнакомый с эмпириокритицизмом и смешавший его с философией Богданова, от вступления в печатный бой дипломатически уклонился, а толкнул свою ученицу Ортодокс, и в этом первом выступлении ортодоксии против эмпириокритицизма — она сильно осрамилась.

Хорошо помню, что на меня ее статья произвела тягостное впечатление. Она напомнила *gue du Foyer*, где Ленин пытался растерзать эмпириокритицизм с помощью ругательств. Она мне напомнила другое: три месяца пред этим Мартов мне говорил, что с эмпириокритицизмом нельзя бороться «наскоком», против него нужно направить только серьезную, основательную критику. Почему же Мартов, будучи одним из редакторов «Искры», печатает теперь «наскок» Ортодокса? Хорошие слова Мартова, решил я, разошлись с его делом. Я ошибся. Через двадцать лет — Мартова уже не было в живых — я узнал из журнала «Пролетарская Революция» (1924 г., № 1, стр. 200–202), что он был решительно против помещения в «Искре» статьи Ортодокса, на чем настаивал Плеханов и, в угоду ему, вероятно, Аксельрод и Засулич. Не ограничиваясь словесными возражениями, Мартов выразил свой протест даже в форме письменного заявления:

«Признавая статью тов. Ортодокс в научном отношении посредственной, а в литературном отношении неподходящей для политической газеты, я сверх того, думаю, что такая статья *слабостью* своей критики и неубедительностью заключающихся в ней обвинений против нового рода ревизионизма может только способствовать популярности распространяющегося в рядах социал-демократии модного философского течения. Признавая серьезную идейную борьбу с новым видом ревизионизма, я, думаю, что эта борьба должна вестись не с помощью газетных статей, а в «Заре», где только и возможна тщательная и глубокая критика

теоретических заблуждений Богданова и Ко». (Статья Ортодокс вошла в ее книгу «Философские очерки», изданную в 1907 г. Первые годы советской власти Ортодокс (Л. А. Аксельрод), вместе с Дебориным, считалась охранителем чистоты марксистской материалистической философии. Пишущему эти строки пришлось с нею резко полемизировать в печати, что не помешало нам в 1922 и 1926 гг. вести весьма мирные разговоры. На книжных полках ее комнаты, будучи у нее в 1926 г., я, увидев весь синклит эмпириокритических философов, спросил: неужели вы продолжаете думать о них, как в 1904 г.? Л. И. Аксельрод очень честно призналась, что она во многом изменила свой взгляд на них. «Можно не соглашаться с ними, — сказала она, — но это серьезная философия».)

Читая в 1924 г. это заявление, я думал: а всё-таки недаром я просидел с Ю. О. Мартовым три часа в кафе на *Plaine de Plainpalais*, излагая ему эмпириокритицизм. Если думу мою почтут проявлением самомнения — не буду возражать.

После встречи с Мартовым, а в этом простом факте Ленин, о чем ниже, усмотрит мое «двурушничество», не могу рассказать о другой встрече, на этот раз с Богдановым, а беседа с ним мне дала понять, насколько с конца июня, сменив полосу «благоволения», — стало враждебно ко мне отношение Ленина.

Богданов, как и Ольминский, приехал в Женеву в феврале 1904 г. Я познакомился с ним у Ленина. В конце февраля или начале марта Ленин пригласил Богданова, его жену, Ольминского и меня сделать прогулку в ближайšie к Женеве горы: во время ее много говорилось об «интенсификации» борьбы с меньшевиками. Потом я видел Богданова два раза по следующему поводу. Я рассчитывал, что Богданов, имевший в России обширные литературные связи, окажет протекцию для помещения в журнале «Обозрение» моей статьи об экономическом положении Донецкого бассейна, составленной, главным образом, по данным «Торгово-промышленной газеты». Основную мысль газеты о низком уровне развития южнорусской угольной промышленности и металлургии Богданов признал совершенно правильной, но нашел, что статья в литературном отношении слаба, ее всю нужно переделать, переписать, заново написать. Я показал ее Ленину. «Неправда, — сказал он, — статья не плохо написана. Она ясна и грамотна, большего не нужно. Беда ее в другом: основная мысль в ней — ни черта

не стоит! Нельзя говорить о низком уровне индустрии юга. Она развивается темпом, превышающем американское развитие. Не принимать этого во внимание, преуменьшать быстрый ход капиталистического развития, а вместе с ним еще более быстрое развитие рабочего движения, притом в форме революционной, — значит повторять народнические ошибки и не видеть открывающихся перед нами больших перспектив».

После таких противоположных отзывов, не зная, какому богу молиться, я статью уничтожил.

Из Женевы Богданов уехал в Париж, и встретиться с ним пришлось лишь в начале августа. Он жил в это время, как уже упомянуто, в компании с Лениным, недалеко от Женевы и приехал в нее на несколько часов, кажется для покупок книг. Я встретил его на rue Carouge, выйдя из столовой Лепешинских. «Мне с вами, — сказал он, — надо кое о чем переговорить, я иду на вокзал, проводите меня». В пути я услышал от него следующее. Ленин, беседуя с ним о составе женевской группы большевиков, ему поведал, что он неожиданно «нарвался» в моем лице на случай «совершенно дикого обскурантизма», прикрытого путанной философской фразеологией.

— Когда я узнал, что вы приносили ему Авенариуса и Маха и влиянием их философии он объясняет ваше затмение, пришлось с Лениным повоевать. Вас я не знаю, хорошо или худо вы защищали философию Маха, тоже не знаю, но всё-таки я не мог не указать Ленину, что согласие с взглядами эмпириокритицизма к обскурантизму не ведет, что я сам прошел через эту школу и разделяю ее критику философского материализма. Ленин стал возражать, ссылаться на Плеханова, спорить с излишним азартом и большой нервностью. Мы с ним продискуссировали целых два дня и чуть-чуть не поссорились серьезно. Суждения Ленина о философии я слышал от него *впервые* и убедился, что об этих вопросах с ним лучше не говорить. Страсти спорить у него много, а знаний мало.

Хотя он ссылался, например, на «вещь в себе» Канта, я вынес твердую уверенность — «Критику чистого разума» он не читал, в лучшем случае, в нее заглянул. Относительно кантовской «Критики практического разума» он прямо заявил, что счел ее столь пустой и никому не нужной, что дальше первых страниц не пошел. Поспорив два дня и видя, что спор ни к чему доброму не приведет,

мы с Лениным решили, что ссорится из-за «вещи в себе» или чего-то вроде этого нам не годится и потому лучше впредь о философских вопросах не говорить. Я вам сообщаю всё это вот к чему. Несколько медвежье обращение Ленина с философскими доктринами ни на секунду не подрывает его авторитета — выдающегося организатора, экономиста, политика, самого большого человека в нашей партии. Для вас, должно быть, не секрет, что мы решили порвать партийную связь с меньшевиками, иметь собственную организацию, свой центральный комитет и комитеты на местах.

Главным инициатором и руководителем этого дела является, конечно, тов. Ленин, которого «Искра» объявила политически мертвым человеком. Борьба с меньшинством предстоит трудная, но мы победим, большинство партии пойдет за нами. В предстоящей борьбе мы все как один человек должны дружно сгрудиться около Ленина, всячески помогать ему, оказывать ему максимальную поддержку, хотя для некоторых из нас не все стороны его характера приемлемы. Рассматривая с этой точки то, что произошло между Лениным и вами, и не входя ни в какие частности, тем более что я их не знаю, должен сказать, что не могу одобрить вашего поведения. Я обратил внимание, что Ленин вас называл «заносчивым обскурантом», а Н. К. Крупская указала, что вы в споре с ним вели себя «вызывающе дерзко». Так нельзя, право нельзя! Особенно теперь, когда Ленин подвергается такому поношению со стороны «Искры» и меньшевиков. Среди большевиков должно быть больше почтения к Ленину, нам нужно его защищать, а не вести против него критику, да еще вдобавок дерзкую. Вам надо уладить это дело.

— Что же вы хотите от меня, — воскликнул я, — не намекаете ли вы, что я должен просить у Ленина извинение?

Я рассказал Богданову, по поводу чего шел спор с Лениным, какими ругательствами он меня осыпал, как сознательно старался «опозорить», объясняя расхождение с ним не только тем, что я попал под влияние Авенариуса и Маха, а якобы и под влияние Булгакова, по его изящному выражению, сидящего в вонючей яме.

— Считаете ли вы честным такой сорт полемики? Вполне соглашаясь с вами, что Ленин большой человек, я всё-таки никогда не соглашусь стоять перед ним на коленях. Партия не должна делиться на «заезжателей», которым всё позволено, и «заезжаемых», которым вменена обязанность молча подчиняться всему, что они слышат сверху.

— Это уже вы цитируете из скверной литературы Мартова, — сухо заметил Богданов. После моей реплики он, видимо, потерял желание вести со мною разговор. Сказав, что ему нужно спешить на вокзал, он сел в подходивший трамвай, простившись со мною весьма холодно. Что он хотел от меня? Вероятно, полагал, что к назиданию «уладить» конфликт приседанием пред Лениным я отнесусь с полной готовностью и предупредительностью!

В связи с встречей с Богдановым следует коснуться той начальной стадии его отношений с Лениным, которую я назвал *lune du miel*⁸⁷. В 1908 г. в разгар уже происшедшей между ними лютой ссоры, Ленин писал М. Горькому:

«Лично я с ним (Богдановым) познакомился в 1904 г., причем мы сразу презентовали друг другу: я “Шаги” («Шаг вперед — два шага назад». — *Примеч. Н. В-В.*), он одну свою тогдашнюю философскую работу. И я тотчас весной или летом писал из Женевы в Париж, что он меня своими писаниями сугубо разубеждает в правильности своих взглядов и сугубо убеждает в правильности взглядов Плеханова, а с Плехановым, когда мы работали вместе, мы не раз беседовали о Богданове».

Память несколько изменила Ленину. Впервые Ленин увидел Богданова в феврале 1904 г. Возможно, что тогда тот «презентовал» ему свою философскую работу «Эмпириомонизм», книга I, но Ленин не мог ему в этот момент «презентовать» «Шаги». Эту вещь он только начал писать, и вышла она из печати в половине мая. Возможно (но я в этом не уверен), Ленин весной или летом писал Богданову в Париж о своем несогласии с его философией.

Богданов на это письмо, во всяком случае, не обратил внимания, так как из вышеприведенного с ним разговора следует, что *впервые* его суждения о философии он услышал в августе, поселившись рядом с Лениным у Luc de Bré. Я предполагаю, что разговор с Богдановым о моем «обскурантизме» был неким маневром «Ильича». Право, смешно думать, что конфликту со мною и моему обскурантизму он придавал столь большое значение, что счел нужным сообщить о нем Богданову. У Ленина тут был другой умысел. Заклучая политический союз с Богдановым, он, на примере со мною, хотел показать, что подвергает беспощадной экзекуции всякого открыто заявляющего себя противником материалистической философии. Он хотел припугнуть Богданова: мы, намекал он, идем с вами вместе, но с условием, чтобы ваши

«эмпириомонистические штучки» — вы забыли и не афишировали. Богданов маневра не понял, а если понял, страха не обнаружил и начал с ним спорить. При «медвежьем» отношении Ленина к философии и его нетерпимости спор грозил окончиться «серьезной ссорой», но, насилуя себя, Ленин пошел на попятную. Об этом указывает и цитированное письмо Ленина к Горькому:

«Осенью 1904 г. мы окончательно сошлись с Богдановым как большевики и заключили тот, молчаливо устраняющий философию, как *нейтральную* область, блок, который просуществовал всё время революции (1905–1906 гг.)». Почему же Ленин пошел на такую, недопустимую с его точки зрения, ересь, как признание философии «нейтральной областью», т. е., иначе говоря, допустил, что член партии может не придерживаться философского материализма, а такой взгляд разделяли в то время, кажется, все социалистические партии, за исключением русской? Почему спор Ленина с Богдановым не окончился тем, что его спор со мною? Объяснение просто: я был капралом, в лучшем случае, прапорщиком революции, а Богданов — генералом, ради кокетства подписывавшим псевдонимом «Рядовой» издаваемые в Женеве революционные брошюры. В 1897 г. он начал свою литературную карьеру, написав популярный «Краткий курс экономической науки», ставший в социал-демократических и рабочих кругах основным руководством при знакомстве с политической экономией. (Достоинства этого ортодоксального, страницами очень упрощенческого, курса — не особо велики. Позднее, после 1910–1912 гг., когда о ком-либо хотели сказать, что в экономической науке он не силен и мыслит шаблонно, — о нем говорилось: «мыслит по Богданову».

В 1899 г. он выпустил книгу «Основные элементы исторического взгляда на природу», с явным влиянием на нее «Натурфилософии» Оствальда; в 1901 г. — книгу «Познание с исторической точки зрения», где, по моему убеждению, с крайней грубостью вставлял «факты знания» — не их физиологическим субстратом, а стороной «психической» — в общий энергетический ряд. Хотя эти работы не пользовались такой популярностью, как его «Курс экономической науки», они расширяли его известность, и к тому времени, когда Ленин встретился с Богдановым, у того было уже литературное имя. Он был очень известен в социал-демократической среде, имел обширные литературные связи в Петербурге и в Москве, в частности с М. Горьким.

Около Ленина, — твердо решившего организовать свою партию, — не было ни одного крупного литератора, даже правильнее сказать, кроме Воровского, вообще не было людей пишущих. Богданов, объявивший себя большевиком, был для него сущей находкой, и за него он ухватился. Богданов обещал привлечь денежные средства в кассу большевизма, завязать сношения с Горьким, привлечь на сторону Ленина вступающего в литературу бойкого писателя и хорошего оратора Луначарского (женатого на сестре Богданова), Базарова, молодых марксистствующих московских профессоров.

И Ленин, человек очень практичный, увидев, какой большой ущерб принесла бы его планам ссора с Богдановым, обуздал себя, согласился с «ересью», с признанием философии «нейтральной областью». Ленин в это время сугубо ухаживал за Богдановым и именно с ним, а не с жившими в Женеве большевиками, разрабатывал детали осуществления своего политического плана. И когда состоялось «историческое» совещание 22 большевиков, плебисцировавшее ленинские планы, на этом совещании Богданов сидел «одесную» Ленина в качестве главнейшего компаньона, *persona grata* — организующейся новой партии.

«Блок» с Богдановым начал трещать летом 1906 г. Ленин, прочитав только что написанную Богдановым III-ю книгу «Эмпириомонизма», по его собственному признанию, «озлился и *взбесился необычайно*» и послал ему «объяснение в любви — письмецо по философии в размере трех тетрадок» (см. письмо к Горькому в 1908 г.).

Письмецо, иронически самим Лениным называемое «объяснением в любви», содержало так мало знания философии и столь много оскорбительных для Богданова слов, что последний возвратил его Ленину с указанием, что для сохранения с ним личных отношений следует письмецо считать «ненаписанным, неотправленным, непрочитанным».

Нужно думать, что это не произвело большого впечатления на Ленина. В 1906 г. Богданов ему уже не был нужен, как в 1904 г. Молчаливый договор о признании философии нейтральной областью он считал порванным. Испортившиеся между ними в 1906 г. отношения ухудшились еще более в 1907 г., когда обнаружилось, что взгляды на III гос. Думу Богданова отличаются от ленинских. А в 1908 г. наступил уже полный разрыв: в книге «Материализм

и эмпириокритицизм», заостренной, главным образом, против Богданова, — Ленин, можно сказать, проклял его, как вредного еретика, отступающего от канонов марксистской церкви. И так как Богданов по приходе Ленина к власти оказался в числе очень немногих непокаявшихся в своей ереси, он не получил никакого командующего политического поста, стоял в тени и Ленин не переставал отзываться о нем с великим раздражением. (Богданов, врач и естествовед, — умер в 1928 г., заразившись во время экспериментов с переливанием крови, которыми он занимался в медицинском институте Москвы. Мне пришлось встретиться с ним в 1927 г. и иметь интересную беседу о Ленине. От него я узнал, с какой надписью он возвратил Ленину в 1906 г. «объяснение в любви». «Наблюдая, — сказал мне Богданов, — в течение нескольких лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывали иногда психические состояния с явными признаками *ненормальности*». Я не вошел тогда в рассуждение на эту тему с Богдановым, — но мне, как тогда, так и теперь, кажется, что все люди, подобно Ленину, выходящие из общего ранга, имеют и должны иметь некоторые черты аномальности. Именно поэтому они и непохожи на других.)

<...>

